
Гражданская
Война
ЛЕНГИХЛ · 1932

БИБЛИОТЕКА НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ

(ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ ЗВЕНЬЕВ)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД 1932 МОСКВА

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК

СОСТАВЛЕН В. ВАЛЬДМАН
ПРЕДИСЛОВИЕ К. ЖАКОВЩИКОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИНГРАД 1932 МОСКВА

Обложка и художественная орнаментация книги Влад. ИЗЕНБЕРГА.
Ответств. ред. Т. ВОЛОБРИНСКАЯ.
Технический редактор А. КРОЛЕНКО.
Книга сдана в набор 7/IX 1932 года.
Подписана к печати 14/XI 1932 года.
ОГИЗ (ГИХЛ) № 2563/л. Тираж 5 200.
Ленгорлит № 56576. Заказ № 1144. Формат бум. 82×110 см. 8 печ. л. (40 тыс. тип. знак. в 1 б. л.) Бум. л. 2.

Тип. „Печатный Двор", Ленинград, Гатчинская ул., № 26.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

1917 — 1920 годы — годы гражданской войны — огненными буквами вписаны в историю международного рабочего движения.

На опыте гражданской войны молодое поколение рабочего класса всех стран учится и будет учиться, как нужно драться с классовыми врагами за свои классовые интересы.

Под руководством большевистской партии рабочий класс советских республик в тесном союзе с крестьянством создал свою Красную армию, и в условиях развала народного хозяйства, в условиях голода, холода, нищеты сумел разгромить белогвардейские полчища царских генералов и отряды иностранных буржуазных армий.

Несокрушимая революционная воля к победе миллионных рабоче-крестьянских масс, воевавших за свое освобождение из-под капиталистического гнета; тесный союз рабочих и крестьян при твёрдом пролетарском руководстве внутри этого союза; правильность руководства вождя рабочего класса и всех трудящихся — коммунистической партии; поддержка со стороны международного рабочего класса — таковы основы побед рабочего класса Страны советов и его Красной армии в прошлой гражданской войне.

В небольшом по размеру сборнике невозможно дать полной картины гражданской войны. В частности, в настоящем сборнике далеко не полно освещена огромная роль коммунистической партии в организации победы над врагом рабоче-крестьянских масс.

«В эпоху гражданской войны идеалом партии явля-

ется воюющая партия», — сказал В. И. Ленин. И руководимая им большевистская партия никогда не забывала этого. После февраля 1917 г. большевистская партия развернула широкую военную работу. Она разрабатывала основные вопросы, технику и сроки вооруженного восстания, вела пропаганду, организовывала революционные силы внутри старой армии, создавала отряды Красной гвардии.

Эта работа партии частично освещена в материале, помещенном в первой части сборника («Приезд Ильича в Россию», «Вождь», «Прокламация большевиков», «Вечер в окопах»).

Еще бо́льшую военную работу развернула партия после Октябрьского переворота. Десятки тысяч членов партии бросаются в ряды вновь созданной Красной армии, выполняют работу от рядового стрелка до верховных руководителей, организуют и сплачивают массы бойцов, показывают личный пример самоотверженной борьбы.

Коммунист — командир отряда Левинсон (в рассказе «Через трясину»), комиссар полка («Революционная дисциплина»), руководитель крестьянского партизанского отряда Арон («В дни борьбы»), вожди Красной армии К. Е. Ворошилов и М. В. Фрунзе — вот несколько большевистских фигур, показ которых в материале сборника дает известное представление об огромной работе партии в целом и отдельных ее членов по руководству Красной армией.

Другие тысячи членов партии организовывали тыл, боролись с бандитизмом, создавали советский аппарат; они доставали, работая сами на голодный желудок, продовольствие для армии, подготовляли пополнение для фронтов, и сами в первую очередь являлись таким пополнением.

«Перед нами два сильных врага» — говорил В. И. Ленин в начале 1918 г. коммунистам, отправляющимся из Москвы на работу в провинцию, — «первый — это международный капитал. . . Другой наш враг — это разруха».

Один враг дополнял другого и оба грозили задушить молодую Советскую республику.

Коммунистическая партия умело организовывала

массы на борьбу с обоими врагами и несмотря на колоссальные трудности оба врага были биты.

Трудности были большие: разруха, голод, усталость от империалистической войны, недостаток своих — из рабочих и крестьян — хорошо военнограмотных командиров, усиленная контрреволюционная работа внутри советских республик белогвардейских агентов, кулаков, попов. Эти трудности и контрреволюционная агитация вызывали колебания в рядах крестьянства и отсталых групп рабочих.

«Домой бы, товарищи, скорее... Шестой год, товарищи, воюем» (см. рассказ «За себя воюем»).

И некоторые бросали оружие, бросали фронт и бежали в тыл, надеясь дома укрыться от классовой борьбы, надеясь, что враг не тронет их.

«Чего помирать! Может нам по безграмотности, по серости прощенье будет» — говорят крестьяне в рассказе «В дни борьбы».

Но те, которые так рассуждали, скоро на собственном горьком опыте поняли, что в смертельной схватке между трудом и капиталом не может быть середины.

«Кто не с нами, тот против нас» — таков закон классовой борьбы.

Расстрелы, виселицы, издевательства, угнетение несли с собой белогвардейские и иностранные буржуазные армии для рабочего класса и для всего трудового крестьянства (см. рассказы «В дни борьбы», «Лежанка»).

На тяжелом опыте, но крепко усваивали это даже самые несознательные крестьяне, а когда усваивали, то с оружием в руках начинали беспощадную борьбу с белогвардейщиной. Они становились в ряды Красной армии, создавали партизанские отряды, перебегали сотнями и тысячами из армий белых генералов на сторону Красной армии.

Борьба рабочих и крестьян Советского союза есть неотделимая часть борьбы, которую ведут рабочие и трудящиеся с капиталистами во всем мире. И поэтому действия вооруженных сил пролетариата в гражданской войне, так же как сейчас успехи социалистического строительства и боевой подготовки Красной армии, прико-

вывали к себе внимание всего мира. Одни — капиталисты—следили и следят за успехами Советского союза с ненавистью и страхом, другие — рабочие и все трудящиеся — с любовью и надеждой. Одни — послали свои войска для разгрома Советской республики и теперь готовят новый вооруженный поход. Другие — всемерно помогали и помогают пролетариату Советской страны.

В рассказе «В Прикарпатской Руси» описывается как иностранные рабочие помогали Красной армии во время войны с панской Польшей.

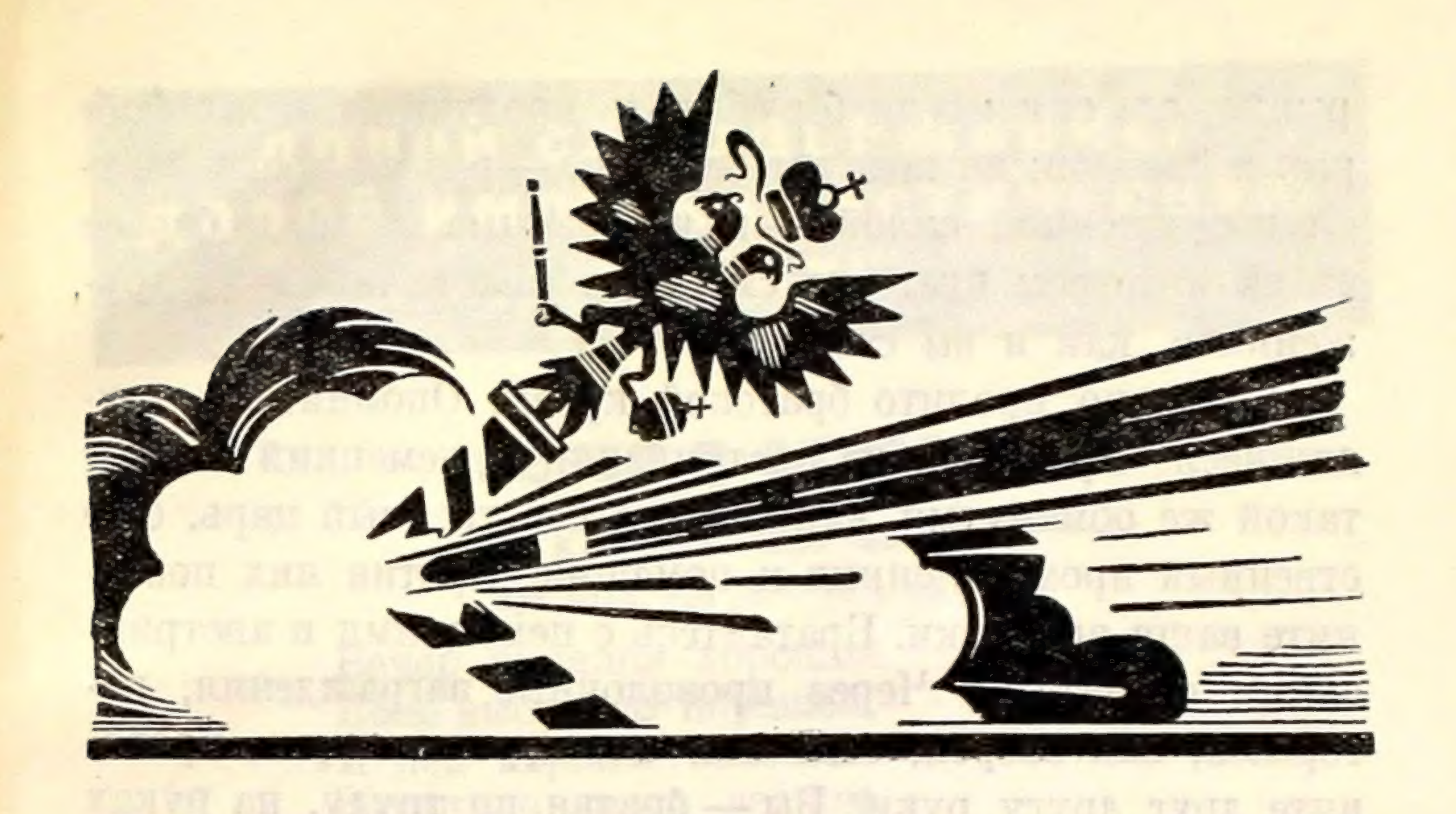
Создание препятствий к отправке снаряжения, оружия, войск против Страны советов, требования прекратить враждебные действия против СССР, прямой отказ солдат и матросов воевать с Красной армией — таковы основные формы помощи, оказываемой международным рабочим классом пролетариату СССР.

Трудящиеся капиталистических стран «оказались ближе к нам, чем к своему собственному правительству» (см. слова Ленина — на стр. 90), и эта близость и поддержка дали возможность пролетариату СССР выйти победителем из вооруженной схватки со всем капиталистическим миром.

Под руководством коммунистической партии, при поддержке международного пролетариата, трудящиеся СССР победоносно окончили гражданскую войну. Кровью бойцов, дравшихся на фронтах гражданской войны, завоевана возможность строительства социализма. Трудящиеся СССР заканчивают выполнение пятилетнего плана великих работ. Но борьба еще не окончена. Остатки капиталистических элементов внутри страны пытаются затормозить социалистическое строительство, а международная буржуазия усиленно подготовляет новый вооруженный поход против Советского союза.

Об этом нельзя забывать ни на минуту. Каждый трудящийся СССР должен быть всегда готов с оружием в руках защищать социалистическое отечество от нападения капиталистических хищников.

К. ЖАКОВЩИКОВ.



МЫ ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬ ЗНАМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ!

ПРОКЛАМАЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 1916 г.

Из романа Шолохова «Тихий Дон»

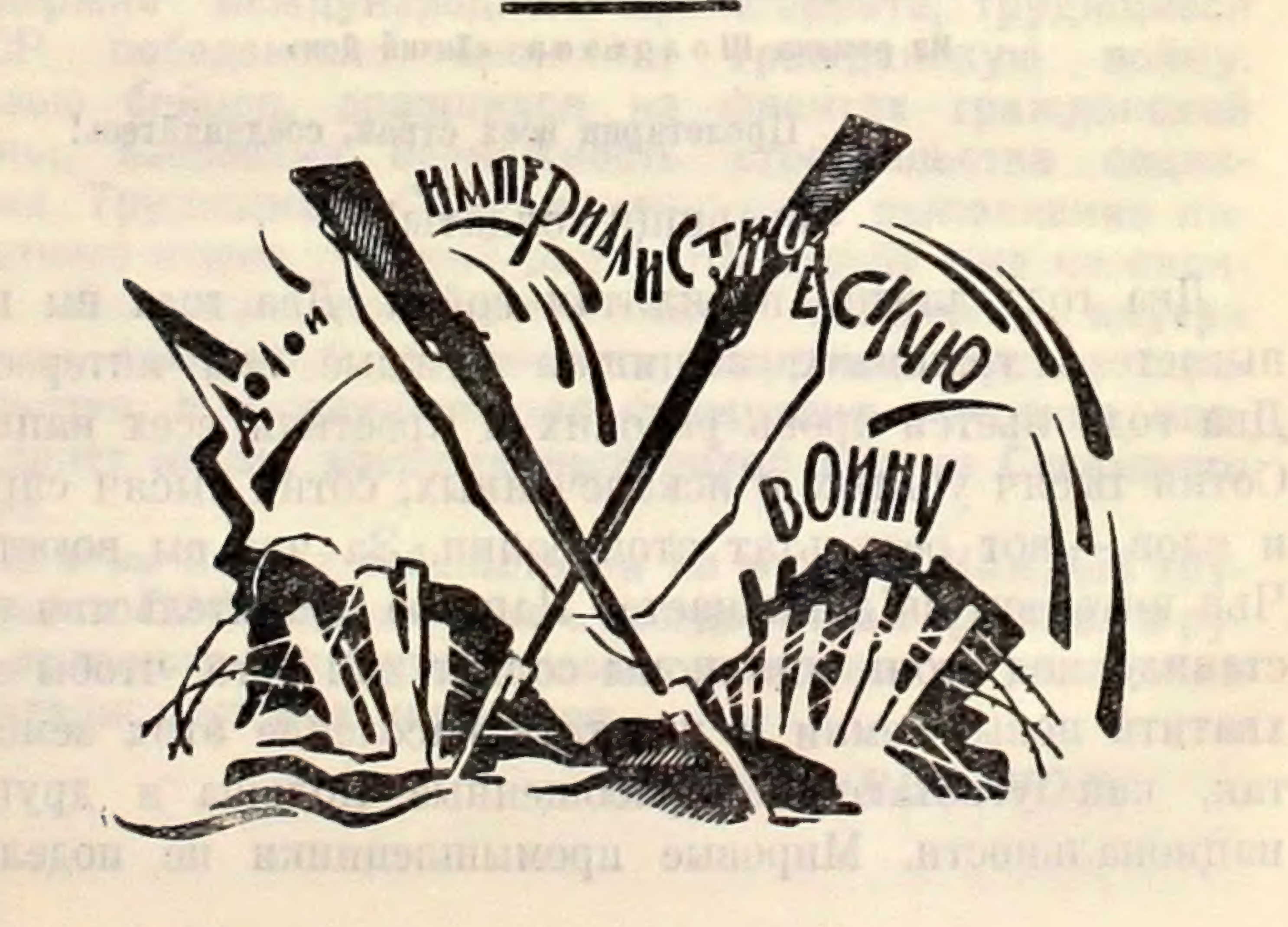
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи солдаты!

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результат этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат для того, чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят

рынка, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барыши, — раздел производится вооруженной силой, — и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролито братской крови. Опомнитесь, трудящиеся! Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы — братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира!»



ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ! ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ!

ВЕЧЕР В ОКОПАХ

Д. Бедный «Про землю, про волю, про рабочую долю»

Вечер выдался хороший.
Поле выстлало порошей,
И под первым холодком
Затянуло грязь ледком.
Друг за дружкою, с оглядкой,
Целый взвод, никак, украдкой
Пробрался в пустой сарай.
— «Фролка, чорт, не напирай!»
— «Экий, братцы, нам подарок!»
— «У кого-то был огарок!»
— «На вот, целая свеча».
— «Ну, Козлов, руби с плеча!» —
Клим, склонившись над листовкой,
Тихо, внятно, с расстановкой,
Стал читать о том, каков
Смысл войны для мужиков,
Льющих кровь свою в угоду
Тем, кто злейший враг народу,
Что «командующий класс» —
Все помещики у нас
И что царь наш православный
Есть помещик самый главный,
Потому немудрено,
Что он с ними заодно:
За порубку аль потраву
Шлет войска чинить расправу, —
Кто там что ни говори,
Все помещики — пари,
Кто — поменьше, кто — поболе.

Сельский люд в их полной воле:
Размешав муку водой,
Приправляет лебедой,
Терпит голод, холод, муки
Да царям целует руки,
В праздник молится за них,
За грабителей своих,
Жнет им хлеб и возит клади,
Барышей их подлых ради
В стуже, в сырости, в огне
Погибает на войне!..

ПИСЬМО СОЛДАТА-КРЕСТЬЯНИНА С ФРОНТА

Ахун и Петров «Царская армия в годы империалистической войны»

Автор письма — крестьянин Федор Беляков, ефрейтор 7-го Сибирского саперного батальона. Письмо написано им в начале 1916 года. За это письмо Белякова отдали под суд и приговорили к отдаче в дисциплинарный батальон на два года.

«Я чувствую, что вам охота узнать про войну, я бы вам все прописал, что я видел и слыхал, какие идут несправедливости. Ведь очень много есть людей, которые желают, чтобы война продолжалась дольше, чтобы награбить больше денег, а несметное число людей должны портить свою кровь, терять здоровье, оставлять жизнь где-то в поле. После них остаются беспризорные дети. Человека забирают под страшный гнет, первым долгом ему внушают, что ты будешь защищать царя, отечество и

родину, а что такое родина, — человек не знает. Хотя он и знает, но не имеет никакой теплоты в душе для защиты. Родиной мы считаем ту страну, где бываем ублаготворены. У меня тоже на действительной родине где-то есть 60 саж. земли, которую я не засеваю и с которой мне и на год нехватило бы прокормиться. И оттого я жил где-то далеко и зарабатывал на чужой работе себе кусок хлеба. А если не наша работа собственная, тогда хотя бы она была и немецкая. Нам за свой труд вознаграждение получить безразлично, с кого угодно. Уже все поняли, что у нас не война, а просто только истребление народа.

«В газетах сообщают, что оружие не будет сложено до тех пор, пока не будет сломлен враг, а голыми руками сломать нельзя. Из нас никто не жалеет, что забран германцами, а только каждый желает мира. Нам бесполезно, что взяли что-либо у неприятеля, все равно будет все казенное и помещиков. Как мы отступали, проезжали массу имений по нескольку квадратных верст, а одно имение — некоторого графа Бржицкого — мы ехали через него полторы недели, считая по 20 верст в день. Вот этим людям есть родина и отечество».

МИР ХИЖИНАМ—ВОЙНА ДВОРЦАМ!

ПРИЕЗД ИЛЬИЧА В РОССИЮ

В. Бонч-Бруевич «На боевых постах Февральской и Октябрьской революции»

Часам к семи вечера мы собрались у здания Петроградского комитета большевиков, который в то время помещался в бывшем дворце Кшесинской. Развернув знамя Центрального комитета нашей партии, мы двинулись к Финляндскому вокзалу. Нас было немного — человек двести, и мы решительно не знали, кто и сколько прибудет к вокзалу. Чем ближе подходили мы, тем чаще встречали отдельные группы и организации рабочих, которые со своими знаменами стройными рядами двигались все дальше и дальше, туда, к Финляндскому вокзалу. Наконец и мы присоединились к большой колонне демонстрантов-рабочих, слившейся из различных организаций.

Пение революционных песен заливало улицы. Военные оркестры армейских частей бодрили и поднимали настроение. Ясно было, что достойная встреча будет. И когда мы пришли к площади Финляндского вокзала, то здесь уже все было заполнено рабочими и военными организациями. Прибыли мощные броневики и заняли пространство у выхода на площадь из парадных бывших царских комнат Финляндского вокзала. Когда мы всходили на платформу, в это время почти бегом прибыли в полном вооружении матросы. Получив известие в Кронштадте, что в Петроград прибывает Владимир Ильич, они пробили «боевую тревогу». Весь матросский мир Кронштадта был через несколько минут под ружьем. Когда су-

довые команды узнали, в чем дело, они тотчас организовали сильные отряды для несения почетного караула на Финляндском вокзале и охраны Владимира Ильича. На самом быстроходном ледоколе они в ту же минуту отправили своих представителей, приказав им во что бы то ни стало прибыть во-время. А времени оставалось мало. И они напрямик летели в Петроград, на рейде пересели на катер, вошли в Неву и пришвартовались возле Литейного места, близлежащего к Финляндскому вокзалу.

Беглым маршем прибыли они на вокзал, заняв место почетного караула за двадцать минут до прихода поезда.

— Я прошу вас передать Владимиру Ильичу, — обратился ко мне офицер, командовавший почетным караулом матросов, — что матросы желают, чтобы он им сказал хоть несколько слов...

Я обещал тотчас же по прибытии передать это желание матросов Владимиру Ильичу.

Минуты томительного ожидания тянулись слишком долго. И вот, наконец, завиднелись в туманной дали огоньки... Вот змейкой мелькнул на повороте ярко освещенный поезд... Вот ближе и ближе... Вот застучали колеса, забухал, запыхтел паровоз и остановился...

Мы бросились к вагонам. Из пятого вагона от паровоза выходил Владимир Ильич, за ним Надежда Константиновна Крупская, еще и еще товарищи...

— Смирр-но!.. — пронеслась команда по почетному караулу, по воинским частям, по рабочим вооруженным отрядам, на вокзале, на площади... Оркестры заиграли «встречу», и все войска взяли «на караул».

Мгновенно стихли человеческие голоса, только слышны были голоса труб оркестров, и потом вдруг сразу как бы все заколебалось, встрепыхнулось, и грянуло та-

кое мощное, такое потрясающее, такое сердечное «ура!», которого я никогда не слыхивал. . .

Владимир Ильич, приветливо и радостно поздоровавшись с нами, не видавшими его почти десять лет, двинулся было своей торопливой походкой и, когда грянуло это «ура!», приостановился и, словно немного растерявшись, спросил:

— Что это?

— Это приветствуют вас революционные войска и рабочие, — сказал ему кто-то.

Мы подходили к матросам.

Офицер со всей выдержкой и торжественностью больших парадов рапортовал Владимиру Ильичу, а тот недоуменно смотрел на него, очевидно, совершенно не предполагая, что все это так будет.

Я шепнул ему, что матросы хотят слышать его слово. Владимир Ильич шел по фронту почетного караула. Командовавший офицер попросил его вернуться. . .

Он сделал несколько шагов назад по фронту почетного караула, который так лихо и торжественно встречал своего вождя, остановился, снял шляпу и произнес приблизительно следующее:

«Матросы, товарищи, приветствуя вас, я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства, но я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам много обещают, — вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля. А вам дают войну, голод-бесхлебье, на земле оставляют помещика. . . Матросы, товарищи, нам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата. Да здравствует всемирная социалистическая революция! . .»

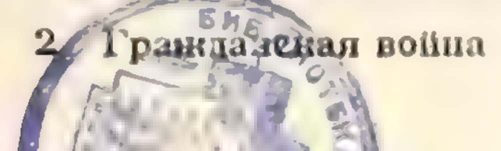


ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

ВОЖДЬ

В. Бонч-Бруевич «На боевых постах Февральской и Октябрьской революции»

В комнате Смольного, в парике, с подвязанной щекой, ходит он, заложивши большие пальцы за жилетку, на цыпочках. Говорит монотонно, спокойно, но глубоко волнуясь внутренне, что так видно, когда всмотришься, по его нервным поворотам, взглядам и поглаживаниям себя по голове. Ходит и думает свою крепкую, бурную, огненную думу великого мирового дня восстания пролетариата всероссийского, поднявшегося на бой, действительно «последний и решительный бой» с буржуазией... Диктатура пролетариата или будет провозглашена, или мы все погибнем как партия, как первейший боевой отряд рабочего класса...



В соседние комнаты я ввел группы хорошо вооруженных рабочих.

— Будьте здесь настороже и наготове...

Мигом осмотрели револьверы, ручные гранаты, бомбы, притихли. Сидят в раздумьи. Это настоящая революционная гвардия. На них можно положиться...

— Скоро ли? Что это? Что там Подвойский? Антонов-Овсеенко? Где он? Послать его в Петропавловскую крепость и дать приказ: если погибнет Подвойский и те, кто с ним, Антонов-Овсеенко обязан вступить в должность главнокомандующего и сейчас же брать приступом дворец, бомбардировать город. Хороший отряд матросов — и все там... Какие там силы? Пустяки! Скорей проникать во дворец!..

Вот оно! Бегут! Донесение. Дворец взят. Временное правительство арестовано...

Молчат. Притихли.

— Ура! Туда, к массам!..

Платка уже нет на щеке.

Мы двинулись.

— Снимите парик, — шепнул я Владимиру Ильичу.

Он нагнулся и снял... И вот он тот же, наш привычный, наш любимый Владимир Ильич с чуть окороченной бородкой.

— Давайте спрячу, — предложил я ему, видя, что Владимир Ильич держит парик в руках. — А то еще потеряете. Вам много придется выступать...

И он отдал мне его.

— Еще может пригодиться! Почем знать?..

— Ну, положим, — хитро подмигнул он мне, — мы власть берем всерьез и надолго...

И мы в зале. Спешно идем туда, к эстраде. Там уже Сталин, Свердлов, еще и еще, все свои, все близкие, де-

сятилетиями сжившиеся, сработавшиеся товарищи и политические друзья.

Вот один из ораторов большевиков, пылающий, радостный и гневный, разносит там на эстраде меньшевиков, хотевших помешать издавать нашу газету «Рабочий и солдат».

Но вот он, скрывавшийся в подпольи, выросший как из-под земли, встал, приблизился к краю эстрады, — все замерло, замлело.

— Ленин! .. — пронеслось полушопотом по толпе.

— Владимир Ильич...

Кто-то крикнул громко-громко: «Ура-а-а-а!» Застонало, задребежало, закрутилось и полилось, сливаясь с несмолкаемой бурей невиданных и неслыханных аплодисментов.

Он, чуть-чуть заложив руки в карманы, приподнял немного опущенную было голову и пристально вгляделся в битком набитую, стонавшую и ликовавшую залу. Взглянул, точно что-то подсчитывал, взвешивал, решал: быть или не быть? Победим или нет тридцать пять тысяч помещиков и дохлую чахлую русскую буржуазию вон с теми, вот с ними, с этими пылающими и рвущимися, готовыми положить жизнь свою за дело рабочего класса...

— Победим! — крепко и уверенно решил он.

И он уже недоволен. Машет руками, отступает от края эстрады, высказывает нетерпение...

— Что это вы там? Покричали — и довольно... Проголосовали всероссийскую революцию, всеобщее восстание пролетариата, заявили свою солидарность с ЦК партии, — ну, и ладно, пора заняться делом...

Энергично и нетерпеливо машет рукой, даже крикнул: «довольно!» Оглянулся на президиум, — «что это, мол, у вас какой беспорядок здесь?» — и заговорил. Все

стихло и замерло. Дыхание слышно людей. А он четко и ясно доводит до сведения, что по решению партии и несомненной воле пролетариата Зимний дворец взят славными рабочими войсками, Временное правительство свергнуто, арестовано и отправлено в Петропавловку.

— Хорошо? Довольны? — вопрошают его устремленные взоры.

Стонет зал.

— Ура! — бесконечное, резкое, отрывистое и долгое — лучше всякого голосования подтверждает твердую волю самого боевого пролетариата.

„ЭЙ, ГАНГУТ“

Ал. Яковлев

«Дорогой ты мой товарищ, Михаил Павлович! Поди, сильно икалось тебе вчера и ноне, как я вспоминаю тебя в эти серые дни,— и вот невмоготу мне стало, и пишу тебе письмо, дорогому моему товарищу Гангуту. А по какому случаю вспоминал? Иду я вчера утром по Арбату, а дождь хлещет несусветный, прямо как из пулемета. Кепу я на самые глаза надвинул, воротник поднял выше ушей, — иду. Гляжу под ноги, чтобы в лужу не влезть, и только в одном месте через ручеек перепрыгнул, глянул вверх — и вижу стену высоченную, вплоть до серого неба, и на этой стене под самой крышей два узких окошка слуховых чернеют, — будто кто два раза мазнул черной краской. Возле окошка пятнышки небольшие, так величиной с пятачок, и много их, — справа, слева, сверху, снизу, вроде как пчелы сидят вокруг летка. Ты помнишь, дорогой мой товарищ Гангут, какие

это пятна? Ты сам их наделал, — это пятна от наших пуль. Я тогда взглянул и сам себе не поверил сначала: мало таких пятнышек осталось. Москва чистится, выглаживается, штукатурится, а помнишь, как мы по улицам с винтовками гуляли, офицерью да юнкерам головы ломали?..

«И еще, глядя на пятнышки в штукатурке, вспомнил я твое лицо, так сильно пострадавшее по случаю оспы в твоем раннем детстве. Как явился ты нам в тот день, такой же вот пасмурный день и сырой, совсем похожий на эти дни. Эх, Гангут, уходят наши года! Вот скоро четырнадцать стукнет, как мы с тобой знакомство ведем... Ныне у меня нет друга любезнее тебя, а тогда в первый момент мы тебя готовы были в штыки принять по случаю тому, как ты нас ругал...»

Якушев откинулся на спинку стула, бросил в сторону непривычное перо. Ему разом представился тот миг, когда они, красногвардейцы Пресни, готовы были принять в штыки буйного матроса с золотыми буквами на фуражке «Гангут». И весь день представился во всех мелочах. В тот день — это был уже третий день московского боя — улицы на Пресне были полным полны народа. Бои велись на Садовой, за Смоленским рынком, — далеко. На пресненских улицах будто праздник был, — стали все заводы, — гу-ляй! И толпы густо чернели на всех углах, и смех слышался, и громкий говор, и коекогда споры. Не ходили ни трамваи, ни автомобили, не было извозчиков, — толпа выбралась с тротуаров прямо на мостовую, грызла семечки, балагурила. Красногвардейцы, — молодые парни, почти мальчики, и пожилые, — были которые совсем старики, — с винтовками на плече или просто в руках на манер метлы — пробирались через толпу, — кто в город, в бой, кто из города, из боя. Этих встречали расспросами:

— Ну, как там? Эй, Петька, что видал? Во что стрелял?

— Где сражаются-то?

— Поди кровь рекой там льется?

И если уставший от бессонной ночи или от волнений красногвардеец молчал, угрюмо пробирался мимо, над ним смеялись с грубоватой прямотой:

— Напугали парня, аж язык отнялся...

— Пошел белье менять. Вояка!

Якушев жил тогда в Тестовском поселке.— Всю Пресню надо переполосовать, чтобы добраться к бою. И каких только разговоров не наслушаешься, пока идешь через толпу.

— Якушев, и ты пошел? Кланяйся там юнкерам!

— Хорошо, поклонюсь!

— Да гляди, как бы голову тебе не раскупорили!

Но ближе к Садовой — уже меньше народа. Последняя толпа стояла на углу Волкова переулка. Улица у Зоологического сада и дальше у церкви Покрова, всегда шумная и грохочущая, в тот день была пуста, словно вымел ее кто железной метлой. Только под воротами жались люди. И за выступами стен, за углами стояли рабочие с винтовками и с ними два-три солдата в серых шинелях.

На дальнем углу стояли черные и серые люди с винтовками — рабочие и солдаты — и стреляли, целясь куда-то за угол. Якушев быстро подошел к ним, осторожно глянул вдоль пустой улицы. Он ждал, что увидит окопы или баррикады и людей за ними. Но нигде никого. Ни баррикад ни окопов. Только пустая улица с пустой мостовой. Дома безмолвные, в окнах виднелись занавески, как бельма на глазах.

— В кого же стреляете?

— А вон... в том доме на чердаке сидят юнкера. Видишь, высокая стена? Два окна под крышей?

Якушев вышагнул из-за угла, — «на какой же дом показывает?» На доме очень далеко мелькнуло желтое пятнышко, и тотчас в стену над головой ударила пуля. Якушев пагнулся и скакнул за угол. Солдат в серой шапке засмеялся:

— Что, не любишь?

— Да, чорт бы их взял...

От волнения он не знал, что сказать, и только улыбался.

— Сидят там на чердаке. Как их возьмешь оттуда?

— Обходом надо, — пробурчал угрюмый солдат.

— А где пройдешь? Через крыши, что ли?

— Понадобится, так и через крыши пойдешь. Мы еще не такие укрепления брали.

Якушев опять подошел к углу, и все один за другим потянулись сюда же. Мальчишка выбежал на самую мостовую, вытянул шею, во что-то всматриваясь, и вдруг закричал придушенным, таинственным голосом:

— Глядите, перебегают! Сюда бегут!

И скакнул за угол, за толпу. Якушев всмотрелся. Да, там перебегали серые игрушечные фигуры — от дома к дому, ближе, ближе. В их согнувшихся позах было что-то кошачье. На высоком доме, в слуховом окне, ударил пулемет, беспрерывной струей замелькал огонь, пули с визгом понеслись по мостовой, колотились в углы домов. Юнкера бежали сюда под прикрытием пулемета. Слышались короткие, быстрые крики. Прямо над ухом Якушева кто-то испуганно прошипел:

— Сейчас обойдут.

И, отскочив за угол, побежал прочь. Другие растерянно заметались и тоже побежали, гулко топая ногами. Якушев оглянулся. Бежали все. Ему стало жутко.

— Стойте! Куда вы, чорт вас? .. — закричал он срывающимся голосом. — Бей их!

Ему казалось, вот именно сейчас надо стрелять. Но никто не оглянулся, будто не слышал его. Он опять выглянул за угол. Серые фигуры все так же крались по-кошачьи, но теперь уже совсем недалеко от угла... Их много, а он один, все равно он не справится с ними. И едва эта мысль мелькнула: «один, убьет», он метнулся судорожно и, не помня себя, пустился вслед за другими и в одну минуту обогнал их, чтобы только не бежать последним, чтобы не в него попали юнкерские пули.

Все сыпанули за первый же угол, Якушев — впереди всех, — и чувство глубочайшего облегчения на момент охватило его: «Из-ба-вил-ся!» И... тут он сразу наткнулся на винтовку, как на стену. Винтовка торчала штыком прямо к его лицу, черное пятнышко дула глядело, как свирепый глаз, и два глаза, — уже человеческих, но свирепых, — по-звериному таращились на Якушева.

— Куда? — заорал голос.

Черный орущий рот, перекошенное лицо, матросская фуражка с лентами и золотистыми буквами... Сделай Якушев еще шаг вперед — он наткнулся бы на штык. Он остановился с разбега, перегнулся назад, далеко откинув голову, чтобы спасти лицо. Матрос прыгнул навстречу другим,— солдату на мостовой, двум рабочим,— и также направил штык им прямо в лица.

— Куда? Назад! Заколю, трусы!

Он сыпал свирепые ругательства. Он метался от одного к другому, он остановил всех. Казалось, он сейчас заколет каждого, кто сделает еще шаг вперед. Якушев ощетинился от злобы. Ему, Якушеву, прямо в лицо... штыком... какой-то матрос? .. Он сжал свою винтовку обеими руками, готовый ударить матроса. Он уже не

помнил об опасности, что сзади. А вот только этот матрос!

— Да ты что лезешь? — заорал он. — Грозить?.. штыком грозить? Кому грозишь?

И матрос орал, как из пушки:

— Трусы! Подлецы! Назад!.. Застрелю!

Матрос прыгал, будто пружинный, с мостовой на тротуар, с тротуара на мостовую. — Он не позволял сделать никому ни шага.

Тут, все еще собираясь ударить его штыком, Якушев и рассмотрел матроса. Лицо у матроса было в рябинах Рот перекошен в злобе. Фуражка с лентами сдвинута на затылок, и на лентах было написано странное слово: «Гангут».

— Назад! За мной! — в последний раз проорал матрос и прыжками бросился за угол по переулку.

Человек десять рабочих и два солдата пустились за матросом и почему-то прокричали «Ура!» Якушев все стоял ошеломленный. Он посмотрел на товарищей. Может быть, ему приснилось такое заушение?

— Вот так Гангут, чорт бы его взял! — засмеялся высокий рабочий, — это вот да!..

— Стреляют! Слышите? Бежимте за ними! Помочь надо!

И все — теперь уже все, и Якушев — помчались назад за матросом, за товарищами. Те уже плотной толпой стояли на углу, стреляли в кого-то. Якушев, совершенно так, как его учили на военной службе, добежав до угла, лег на мостовую, прополз до каменной трубы и, прячась за нее, приготовился стрелять. На дальнем углу мелькнула серая игрушечная фигура. Якушев старательно прицелился в нее и выстрелил. Серая фигура исчезла. Из слухового окна била огненная струя. Комочки грязи подскакивали на мостовой.

И вот тогда все — и матрос Гангут, и рабочие, и солдаты — старательно целясь, начали стрелять в окна чердака. Высокая серая стена была глуха. Только жили два окна наверху. На их черном фоне сверкал огонь.

— Ну-ка, братва, целься в окна! Постойте, я сам попробую.

Матрос встал на колено и, приложив винтовку к стене, целился долго. И тотчас после его выстрела огонь на чердаке погас. Вокруг заговорили:

— Попал! Попал! Вот молодцом!

Но прошла только минута — пулемет опять заработал: та-та-та-та-та...

Матрос опять припал на колено...

... Весь день потом держались вместе — матрос, четыре солдата и пятнадцать рабочих. Вроде вышел отряд, и матрос командовал. Ему кричали:

— Эй, Гангут, не обойти ли дворами?

— Сперва я сам схожу посмотрю, а вы здесь постойте.

Он сам лез во все щели, выискивал, засматривал, стрелял, куда-то уходил «держать связь»... Иной раз он покрикивал, если делали не по его. Но был он храбр, зря никого не посылал под пули, и ему охотно, сами того не сознавая, подчинялись, — все было, как он хотел.

— Эй, Гангут, мы есть хотим! Мы сходим домой.

— Ступайте! Только скорее возвращайтесь.

— Гангут, у нас патроны на исходе!

— А ну-ка, вот ты да ты, сходите за патронами.

Он выбирал тех, кто помоложе, и посылал за патронами. И ему не перечили.

До ночи и ночь держали пост здесь — на углу Смоленского. С чердака иногда стрелял пулемет. Пули с визгом летели куда-то в Дорогомилово, — там, должно быть, кого-то видели юнкера. А отсюда матрос стрелял

с колена, целясь в слуховое окно. И порой пулемет умолкал надолго — на час, на два.

Ночью пошел дождь, — мелкий, нудный. Красные облака, освещенные снизу пожаром, ползли над крышами. Солдаты и рабочие подняли воротники шинелей и пальто, ежились, дрожали от холодной сырости, постукивали башмаками, чтобы согреться. Неизменен был только матрос. Будто ему ни сырость ни ночь нипочем. И этой неизменной бодростью он понравился Якушеву. Вот именно таким должен быть победитель. . .

На рассвете, уже обессиленный, Якушев собрался домой. Нужно было поспать хоть час.

— Эй, товарищ Гангут, я пойду часика на три домой. Посплю.

Матрос оглядел отряд. За ночь пришло еще десять человек, восемь солдат между ними.

— Что ж, иди. А придешь?

— Приду обязательно. Не спал почти сутки, ну и того. . .

— Иди, иди. Я бы тоже пошел. . .

— Да зачем же дело стало? Идем ко мне. У меня отдохнем, поедим, потом сюда вместе.

Матрос опять оглядел всех, будто искал, кому бы поручить команду, и почему-то усмехнулся. Должно быть, подумал, что никакой команды не нужно, все идет, как надо.

— Эй, братва, я часа на два уйду, вы уж тут смотрите, не прозевайте.

И потом все три остальных дня, пока шел бой на улицах, они не расставались — Якушев и Гангут.

. . . Якушев, ухмыляясь про себя, опять взял перо и продолжал писать.

«Ныне у меня нет друга любезнее тебя, а в первый момент мы тебя готовы были принять в штыки. Такой ты

нам показался грубый да свирепый. Много вас, Гангутов, найдется нами командовать. А право, если бы не ты, мы тогда бы, пожалуй, убежали далеко. Запал у нас был — бежать далеко. А потом, помнишь, как моя жена ругалась, когда мы пришли с тобой спать и завтракать? Она мне призналась: очень она беспокоилась обо мне, потому так и обрушилась на нас. «Бродяги эдакие!» Помнишь? А мы с тобой поели и легли спать прямо на полу, бок-о-бок. И только я разоспался, ты меня по спине кулаком: «Вставай, пора!» Замечательные дни были. Всем нам хотелось спать, все будто ходили в дреме, а легкость во всем теле — точно на крыльях летаешь. Ты, наверное, не забыл тот дом с двумя слуховыми окнами? Еще ты туда стрелял, целясь с колена. Там пулеметчики сидели, стреляли в Дорогомилово. Ну так вот этот дом и теперь цел, — его не заштукатурили, окна избиты вдребезги нашими пулями... мы обходом потом взяли его. Ты налетел на какого-то толстого барина там на лестнице: «Где юнкера?» — «Нет юнкеров. У нас никого не было ни разу». Ты ударил его прикладом по башке: «Не ври, прохвост!» Сами мы полезли на чердак. Пулемет там нашелся, а людей уже не было... Гангут! Те дни мне кажутся такими далекими, как будто прошли с тех пор века — так много мы успели сделать за эти годы. Вот они, плоды нашей пролетарской победы: Кузбасс, Днепрострой, Тракторные. А, Гангут! Кое-что и мы с тобой сделали, товарищ дорогой, для социализма, для мирового Октября. Делаем. Будем делать. Поработаем еще, старина! Мне скоро сорок, а мальчишка мой в комсомол записался. Ты, наверное, помнишь моего Митьку? Ему уже восемнадцать. А тогда было только четыре. Помнишь, как он заревел, когда мы собрались итти опять на улицу? «Папанька, не ходи. Папанька, прогони чужого дядю!» Я теперь иной раз смеюсь над

ним: «Чего ты гордишься, что твой отец сражался на улицах в октябрьские дни? Не гордись: ты его не пускал». А он мне: «Глуп был. Теперь бы сам с тобой пошел». О тебе мы часто говорим. Я все обещаю ему: когда-нибудь ты опять у нас побываешь, не век тебе на Урале сидеть. Приезжай, друг! Приезжай, любезный мой Гангут, — я тебе еще могу показать тот дом... Эх, скоро заштукатурят и его, — никто и знать не будет, как мы с тобой там бились...





СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО!

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ

Д. Бедный

Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце,
Со всех сторон теснят нас злые гады!
Товарищи, мы — в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода!
Насильники стоят в родном краю!
Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою.

ДИСЦИПЛИНА — ЖЕЛЕЗНАЯ!

Серафимович «Железный поток»

В конце 1918 г. части Красной армии, находившиеся на Таманском полуострове (Кубань), были окружены белогвардейскими войсками и подвергались опасности быть полностью уничтоженными.
Революционный энтузиазм бойцов, правильное руководство командования и работа партийной организации дали возможность красной Таманской армии прорваться через вражеское кольцо.

Ночь одолела. Ни огонька ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли. Заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть. Сквозь деревья спящего сада виднеется огонек, — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок. Солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон занавесах и портьерах, и стоит тяжелый, потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот, — тычет адъютант в сороконожку, — с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся, хребет стал высокий, непереходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут.

— Жрать нечего!

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз все придут, — шевельнулся ординарец.

В громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та! .. — где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в столовой. Скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Што там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем, — сказал другой заветренным сиповатым голосом, — кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, также смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям. Столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо итти такими переходами, — этак и армию погубить невдолге...

— Плевое дело...

Железное лицо Кожуха было неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! — гаркнул один из командиров, бывший царский офицер. — На мне нравственная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно, — сказал другой, выделявшийся своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания. — План похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное, — нас каждую минуту могут перерезать.

— Да, приведись на меня, — запальчиво подхватил командир кубанской сотни в лихо заломленной папахе, — приведись до меня, будь я с белыми, зараз налетел бы из ущелья, черк! и орудия нема, поминай, как звали.

— Наконец, ни точных распоряжений, ни приказов — что же, мы орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате. — Маленькие тонко-колючие глаза Кожуха ждали, только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате, голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая!

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция!

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы»...

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры царской армии. А командиры бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами, и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами. Ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой

звук. Больше и больше, яснее и яснее. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту смешались, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду. Через широко распахнутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовать: только — было их много и все одинаковые. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливают, сморкаются, сплевывая на пол, затирают ногой, крутят цыгарки. Вонючий дым невидно расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, налилась тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова.

— Вы, товарищи, представители рот, и вы, товарищи командиры, чтоб вы знали, в каком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками, по приказанию офицеров. То же готовят и нам. Козаки наседают на нас сзади. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — дыра, мы в дыре. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться каждую минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того места, где хребет поворачивает от моря. Там горы высоко и широко разлеглись, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам около моря до Туапсе, от сего места триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там наши главные силы, наше спасение. Надо иттить изо всех

сил. Провианту у нас только на пять дней, все подохнем с голоду. Иттить, иттить, иттить, бежать, бегом, бегом бежать, ни спать, ни пить, ни есть, только бежать изо всех сил. В этом спасение, и пробивать дорогу, коли кто загородит.

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нема, треба бежать бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, притискивая:

— Выбирайте себе другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть, — сказал адъютант, чиркая спичкой, которая то вспыхивала, то гасла. Наконец, тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало. Заговорили, задвигались, опять стали откашливать, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядывались друг на друга.

— Товарищ Кожух, — заговорил один из командиров голосом, который как будто никогда не командовал. — Мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо итти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно... правильно... просим...— поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же ж вам отказываться, — сказал командир конного отряда, — як вас выбрал народ.

Блестящими глазами, молча, смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа:

— Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хоть трошки неисполнение приказания — расстрел! Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?

— Да отчего не подписаться?..

— Мы и так всегда... — на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух. — Хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов.

— К расстрелу!.. Чего ж ему, в зубы смотреть, як он не сполняет приказания?!. Бей их!

Солдаты опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цыгарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Каждый, кто нарушит дисциплину, хоть командир, хоть рядовой, подлежат расстрелу!

— К расстрелу... расстрелять сукиных сынов, хоть командир, хоть солдат, одинаково... — опять с азартом гаркнула громадная столовая.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай

подписуются командиры. За самое малое неисполнение приказа, али за рассуждения — к расстрелу без суда!

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам! Объявите в ротах о постановлении. Дисциплина — железная, пощады — никому!

ЧЕРЕЗ ТРЯСИНУ

Фадеев «Разгром»

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Помощник начальника отряда Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам и кричал:

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставить при конях, — сказал он командиру взвода Дубову.

— За мной! Бегом!.. — крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму. За ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежали партизаны.

Дорогой им встретились убегавшие часовые.

— Их там несметная сила! — кричали они, в ужасе размахивая руками.

Грохнул орудийный залп. Снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за

другим с короткими, равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя. Загорелся стог или изба.

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока начальник отряда успеет собрать партизан, рассыпавшихся по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине. Он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу цепи белых. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца.

Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки. Она передвигалась к центру. Как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Видно было, как стремительно лилась по улицам темная, грохочущая, многоголовая гуща людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с начальником Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они, — облегченно сказал Левинсон. — Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили. Пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича как женщины. Отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела.

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное за-

рево, полыхавшее над селом. Горел целый квартал. На фоне этого зарева метались одиночками и группами черные фигуры людей. Врач отряда Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя. Потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, перешаясь топтать мертвое тело.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо.

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху мчалась им наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей! .. Скорей! .. — кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше. Стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним. Они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении итти. Он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление. Сам он стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди, придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Почва была очень вязкой. Особенно трудно приходилось поводырям из Дубова взвода. Они вели по три лошади. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий, извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное нечистое пресмыкающееся.

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.

— Что случилось? — спросил он.

— Не знаю, — ответил партизан, шедший перед ним.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— Дальше итти некуда: трясина!..

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда. Это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним. Она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья. Конечно же, это был Левинсон... Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха. Пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести...

И вдруг он, действительно, появился среди них, в са-

мом центре людского месива. Он держал в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими, горящими, круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступающей тишине его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать!..— взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер. Протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. — Слушать мою команду! Мы будем гатить болото — другого выхода нет у нас... Борисов! — это был новый командир третьего взвода, — оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову. Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить двух человек для связи с Баклановым!.. Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек!.. Все остальные — в распоряжение Кубрака! Слушать его беспрекословно! Кубрак! за мной!.. — Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное, яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны. Стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель. Взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами. Навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка. Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное. При свете зажженного смолья

видно было, как темно-зеленая, поросшая ряской поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья, в воде в грязи в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, с лягушиной икрой, воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери. . .

А стрельба продвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов слал людей одного за другим и спрашивал: скоро ли? скоро? . . Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати. Дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено. Санитарка Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы. Некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным револьвером, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные. Задние, обезумев, лезли на передних, гать трещала и разлезалась. У

выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках, и тянул-тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног.

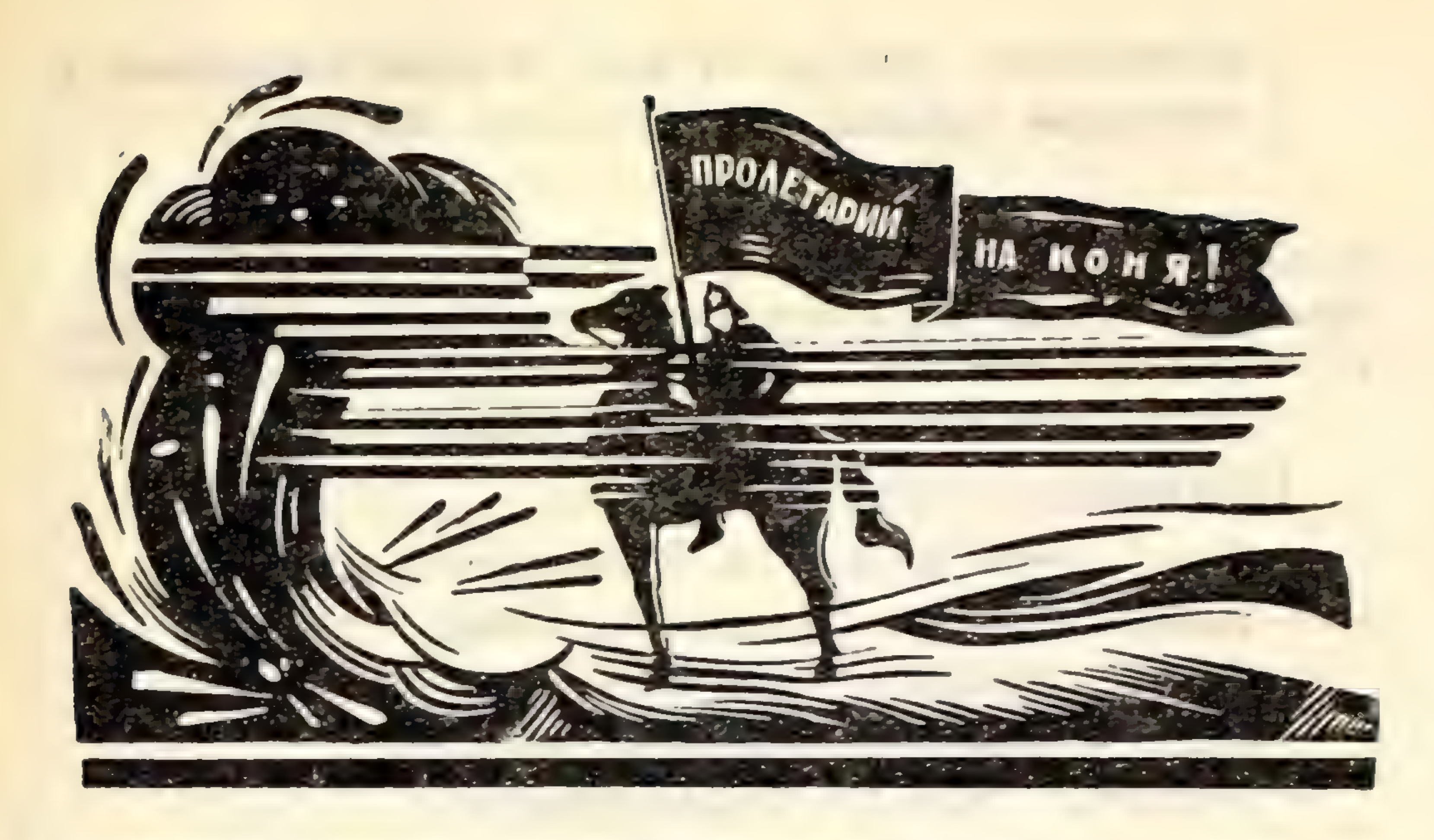
Последним прошел через гать Левинсон.

Подрывник успел заложить динамитный фугас,[1] и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух...

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба. Чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные изуродованные руки, мокрых измученных лошадей — и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

---

[1] Динамитный фугас — заряд взрывчатого вещества.



Годичный опыт гражданской войны показал и доказал, что пролетариат в союзе с крестьянством под руководством коммунистической партии сумел создать свою доподлинную пролетарскую армию, „новую военную организацию нового класса“. *(Ленин, т. XVI, стр. 68)*

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА!

В. Вишневский «Первая Конная»

До весны 1919-го — год целый — в невиданных сечах бились царицынцы. Под самый город казачьи лавы — сметы им нет! — подходили. Нет! Не взять Царицына!

Чудесны бойцы, вставшие в 1918-м. Мятежным вихрем крестьянским неслись по степям Дона, Кубани и Ставрополья, бились неправдоподобно смело... Но было и так:

разгоряченные, хмельные от боев, от удали, не мирились с отточенным порядком, со строгостью...

Площадь у штаба. Дом. Пика у крыльца. На пике красный флажок. Вывеска мелом: «Штаб». У крыльца беспорядочная толпа вооруженных партизан, в кавалерийских бурках, черкессках и пехотных формах. Гул с истерическими выкриками.

Голоса:

— Давай сюды комиссара. Куды спрятался?

— Дожили — старый режим вертают!

— За что деремся?

— Наше право!

— Комиссар, выходи! Народ требует!

— Товарищи, стой как один!

В толпе выделяется чисто одетый боец, чубатый хват, в алых галифе с револьвером в руках. Он держит речь:

Боец. Мы босые и голые. Они в коже ходят. Мы страдаем. Они на бархате спят. За что, товарищи? А с нас насмешки строят, ни во что ставят...

Гул: «Правильно!»

Скоро нас всех сничтожат. Позабирают в особый отдел по одному...

Гул: «Правильно!»

Требуем: освободить невинных арестованных! Давай их сюда! Комиссара к ответу! Так, товарищи?

Гул: «Правильно!»

За какое дело арестовать? А?! Я спрашиваю: за какое дело? А? Это бойцу может честь перед комиссаром надо отдавать?

Гул.

Голоса:

— Давай комиссара! Где он, жаба?

— Вернуть арестованных!

— А то штаб порубаем!

— Комиссара!

— Дае-ошь!

— Га-а-а!

Гул. Входит рабочий. Он комиссар. В гимнастерке. Пауза и гул ярости.

Голоса:

— Сучий бог, што, в гроб захотел? Арестовать?!

— На шею сесть хотишь?

— Енерала ломаешь — на нас плюешь? Я вот тебе плюну с нагана *(над головой бойца наган).*

Толпа приливает к крыльцу.

— Ноги с заду выдернем!

— Освобождай арестованных бойцов!

Рабочий *(покрывая всех голосом, бросает).* Не галдеть! Кого на испуг берете? Коммуниста-большевика на испуг берете? Не галдеть!

Вспышка гула, но тише.

— По порядку! Говори один! В чем дело?

Боец в галифе с наганом *(говорит сначала тихо).* Мы тебя на бога не берем. Мы тебе говорим — брось замашку. Сейчас приказ давай: освободить арестованных бойцов! Мы босые и голые. Ты в коже ходишь! Народ арестуешь. Тов-ва-рищи! Правильно я говорю?

Гул злобы и одобрения.

Рабочий. Арестованы два бойца за отказ выполнить боевой приказ советской власти. Кто не выполняет приказа советской власти, тот — наш враг. Пособник атаманов. Невыполнение приказов поведет к развалу. Фронт рухнет. Офицеры вас передушат. Верно ведь? Вы этого хотите?

Пауза. Гул. В толпе замешательство.

Б о е ц в г а л и ф е. Товарищи! Глаза залепляет он вам! Мороку клеит. Гад! Мы босые и голые! Где правда? За што бьемся? Штоб арестовывали?

Гул возрастает. К комиссару подходит бочком писарь с очередной бумажкой. Комиссар внимательно ее читает. Толпа ревет. Комиссар прочел бумажку, полез в карман, достал печатку, поковырял пальцем, расчистил. Подышал на печатку и поставил печать на бумажку.

Р а б о ч и й. За что бьемся? За Советы! За наши! Крестьянские! Рабочие! Верно ведь? Большевики ведут. Наша партия. Что приказывает — сделать! Повиноваться!

Гул спадает.

Б о е ц в г а л и ф е. Тут не старый режим —тянуться да повиноваться! Правильно, товарищи?

Общее молчание. Один только крик: «правильно!» Перелом.

Р а б о ч и й. Нам бойцы нужны, а не горлопаны митинговые!

Б о е ц в г а л и ф е. М-м-ы буржуев били. Я сам раненый был.. . Товарищи, нас оскорбляют в лицо!

Р а б о ч и й. А теперь, если вот так криком брать, буржуи нас побьют.

Молчание.

Р а б о ч и й. Бойцы! Приказ ясен. Арестованные будут отданы под суд. Каждый узнает, что постановит суд. Наш суд. Рабочий. Крестьянский. Виновные понесут наказанье. В бою кто изменяет, тот не наш. Верно ведь? Кто не согласен со мной? .. А ну, кто не хочет исполнять порядки Красной армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться!

Г о л о с а:

— Ну, разве можно!

— Пусть к офицерам катится, кто изменил.

— Кто изменит — руби его!

— Оружие для бою надо.

— Верно!

Боец в галифе жмет плечами, улыбается и уходит танцующей походкой в толпу: «для вас, мол, старался, а мне што!»

Рабочий. Все в порядке, товарищи?

Голоса. А што ж! В порядке.

Сысоев. Ясно. Суд разберется... Сами понимаем...

Рабочий. Можно разойтись, товарищи?

Так партия руками политических работников, не знавших колебаний и страха, выковывала регулярные полки, бригады, дивизии, корпуса, армии. Воля партии была выполнена, и армии — наши армии — были созданы,



Мы можем вести войну потому, что массы знают, за что воюют, и хотят воевать, несмотря на неслыханные тяжести... *(Ленин, т. XVI)*

ЗА СЕБЯ ВОЮЕМ...

Зазубрин «Два мира»

За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу реки лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой, колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии. Лишь далеко в тылу у тех и у других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев, полевой караул Минского полка, шопотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, шестнадцатилетний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал цыгарку.

— Ты, чорт озорной, докуришься, влепят тебе пулю в харю!

Лицо Спирьки, худое, грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в потемках, покрывалось медно-красным налетом. Цыгарка шипела подмоченным табаком.

— Ничего. Он не увидит. Я под шичелькой.

— Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет.

— Ничего! Колчака теперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали, сколь верст рысью прогнали.

— Похоже, не устоять Колчаку?

Длинная шинель, — рваные сапоги, фуражка, смятая блином, — повернулась на спину. Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца цыгарки посыпались искры.

— Знамо дело, не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот што.

— Деникин вот только здорово прет.

— Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить.

Серая мочальная борода устало ткнулась в колени.

— Домой бы, товарищи, скорее.

Цыгарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла.

— Домой, мать твою за ногу! Ступай, садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе стары господа, по головке погладят.

Спирька отхаркнулся, плюнул.

— Ты што, борода, землицу-то помещичью, небось, прибрал к рукам?

— Я што? Мы всем миром. Без земли пропадешь.

— Всем миром! Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак али Деникин тоже за землю и свободу воюют, только для себя, а не для нас. Ну, а нам теперь доводится самим за себя стоять, вот что!

Черные засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящаяся от грязи кепка завозилась около Спирьки.

— Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы несогласны.

Штыки зацепились, стукнули.

— Эх, товарищи, легше с винтовками-то!

— Для чего же было революцию подымать?

— Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, — воюй, пока из последнего буржуя душу вынешь.

Борода тяжело вздохнула, потянулась:

— Шестой год, товарищи, воюю.

— Хошь шесть, хошь двадцать шесть, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься—хуже будет. Опять, идолы, явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, штобы останный раз, значит, — и крышка. Больше штоб никаких войн не было.

Борода уткнулась в землю, засопела.

— Это правильно. Они завладают властью — опять с германцем, али с кем грызться начнут.

— Так и знай!

— Слюни, товарищи, неча распускать. Буржуев, попов, генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное: или они нас, или мы их; мира быть не может. Волк с овцой не уживутся.

* * *

...Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате

было почти темно. У печки, на лавке, плакала сгорбленная фигура. Худые согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку.

— Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, — значит, уйду.

— Что ты, сбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем?

— Пособие дадут.

— Что мне твое пособие? А как убьют, так что мне в пособии-то толку?

— Сын подрастет, кормить будет, да и советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь.

Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени.

— Пойми ты, не могу я не итти. На собрании первый орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь! Никогда!

Женщина всхлипывала, утираясь кончиками головного платка.

— Всю германскую войну с мальчишкой одна-одинешенька мучилась, еле дождалась тебя, каменного. И теперь вот опять, — голова женщины бессильно тряслась, — носу не успел показать домой, а уж бежишь. Подумай ты, бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовали, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит. Сам лезешь.

— Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь!

— Папа, не ходи на войну!

Митя подошел к отцу, опустил голову. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженной, грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену.

— Нельзя, сынок, не итти. Все, кто может, должен итти.

— Папа, не ходи, тебя убьют!

— Может быть, и не убьют, сынок, а итти нужно. Ты, может быть, и не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны итти, чтобы в будущем, по крайней мере, хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну, посмотри, сынок, как жили мы до сих пор? Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартира — вот подвал этот. Захвораешь — как собаку, выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть, и мы должны ее удержать и укрепить.

Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити.

— Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем-то только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не восемнадцать часов в сутки, чтобы они все свободное время могли бы провести по-человечески.

Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь смотрел в маленькое пыльное окно.

— Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не станешь надрываться на фабрике с утра до ночи. Нет! Ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты.

Мальчик забыл, для чего он подошел к отцу. Его детское воображение было возбуждено мечтами взрослого человека.

— Папа, у меня будет много книг? И с картинками?

— Много, сынок, много, всяких, и с картинками и без картинок.

— Вот здорово!

— Да, да, сынок, еще немного — и мы будем хозяевами жизни. Мы пойдем, мы, старики, пойдем, умрем, чтобы вам, ребятки, жилось хорошо.

В ДНИ БОРЬБЫ

Алексеев «Большевики»

Арона я знал еще с раннего детства. Мы жили вместе в одном доме в Гомеле. Моя семья проживала на чердаке, а его — в подвале. Так в сыром подвале Арон и вырос. Из подвала ему был виден кусок грязного вымощенного булыжником двора. На дворе круглые сутки стучал молотком его отец, колесник.

Начиная с детства, Арон все время работал с отцом, а шестнадцати лет попал на выучку к портному. До революции работал швейником. В подпольи он нес небольшую ячейковую партработу.

До конца 18-го года я ничего не слышал об Ароне, Но как-то однажды мне рассказал о нем раненый красноармеец, попавший к нам, в городской лазарет южного фронта.

Вот что он рассказал мне об Ароне:

На юге, где при белых не прекращались еврейские погромы, Арон руководил украинцами-повстанцами. Те шли за ним куда угодно, под его начальством проявляли чудеса храбрости. Два раза украинцы-повстанцы выносили на своих руках тяжело раненого Арона. Рискуя

пытками и смертью, они лечили его на хуторе у своих.

Все объяснялось очень просто.

Арон был человеком положительного дела.

Он никогда не обманывал, не обманывался сам и никому не спускал лжи. Он был прилежным бойцом и хорошим организатором революционной борьбы. Крестьян он знал до точности.

В этом и была его сила.

* * *

... Человек пятьдесят бородачей окружили Арона, Федора, Фролова и Михеева. Лица у них были сосредоточенные и пасмурные. Косили взгляды по сторонам— под ноги.

— Ну, товарищи, и караулить не хотите? — проговорил Арон нарочито весело и громко.

— Надоело, — сказал один седой сухой мужик и сердито и отрывисто махнул рукой.

— Еще бы не надоело! Кому такая жизнь не надоест? Так что же, по домам итти, что ли, хотите?

— Знамо дело,—сказали сердито несколько голосов.

— Ну, что же... И ступайте с богом. Неволить не станем.

Среди бородачей пошел ропот недоумения. Они переглядывались. Смотрели в улыбающееся лицо Арона и недоумевали. С минуту продолжался галдеж. Арон сделал вид, точно он разговаривает с Федором, но вот шум затих, и из толпы стал говорить сухой старик:

— Всем можно, что ли?

— Да, кто захочет. Только мало, я думаю, таких найдется; каждому помирать-то не охота.

— Чего помирать! Может, нам по безграмотности да серости прощение будет...

— Ага! Дожидайся,— протянул Арон.— Мне уже

докладывали из местечка. Прошлой ночью, вот так, как вы, пришли беглые мужики к генералу, а он и слушать их не стал, а приказал просто повесить.

— А может нас послухает! — не унимался старик.

— Попробуй, — со смехом ответил Арон, потом добавил серьезно: — А те, которые эту белую сволочь хотят совсем прогнать, пусть останутся. Бумагу я получил. Красная армия идет нам на подмогу. Через несколько дней здесь будет. С нею вместе мы в два счета разобьем и прогоним врага. А ты, старик, ступай к генералу. Если и казнит он тебя, — а что казнит-то в этом будь уверен,— то ведь тебе и жизни-то не жалко. Все равно, подыхать скоро!

— Знаем! Слышали! — сердито замахал руками старик. — Буде брехать! Красная армия идет... Тоже... Ты намедни соврал раз! Слышали. Другой раз не обманешь!

— Так, так, Иваныч!—раздавались голоса из толпы.

— Мы это уже слыхивали... Поновее чего подай.

— А не верите,— почти вскричал Арон,— то проваливайте. Мы вас не держим. А бумага — вот она. — Арон ударил себя по карману.

— А ты покажь, давай нам, мы посмотрим, — протянул руку старик.

— Многого захотели, старик.

— Давай! Нечего там, — заговорили многие голоса из толпы.

* * *

В это время из-за землянок вышли два босоногих партизана с винтовками на ремнях. Сильно забрызганные грязью, засученные выше колен штаны и подпоясанные веревками рубахи были насквозь вымочены и плотно прилегали к мускулистым телам. Между ними шел,

сгорбившись, крестьянин. Могучие плечи у него были опущены. Руки болтались точно чужие. Ноги ступали как придется. Обнаженная седая голова была мокрая от дождя. С седых волос и бороды капала вода. Одет старик был в истрепанный солдатский костюм и сапоги с широкими голенищами. Все внимание толпы сосредоточилось на старике. Три партизана пошли навстречу идущим, внимательно всматриваясь.

— Да никак дядя Федосий? — воскликнул один из них, засматривая в лицо старику.

— Он, он! — подтвердили другие голоса. — Что с мужиком-то сталось?

— Откуда, старик? — спросил Арон.

— А из местечка я, — каким-то придушенным, глухим голосом ответил старик.

— А что стряслось с тобою? Или заблудился в лесу?

Старик встал на колени.

— Служить к вам пришел... Разорили... Убили меня...

Старик навзрыд заплакал, как ребенок. Арон подбежал к нему и поднял его на ноги. Придерживая одной рукою, другою хлопал по плечу.

— Успокойся, друг, говори, что было... Кто обидел?

— Офицеры обидели... Дочку снасильничали, замучали и-и-и-роды... Стешу мою милую... Голубку... На себя руки наложила... Ох!.. — Старик опять зарыдал.

Толпа бородачей стояла подавленная.

— Смотри-ка, — неслось шопотом из толпы. — Намедни черный, как ворон был, а ноне сед, как лунь... Э-ге-ге! Вот тебе и милостивцы!

— Ну, а потом, дядька, что было? — спрашивал Арон.

— Не успел похоронить... как опять беда! Племяш был у меня... Не свой, но как родной был... Застрели-

ли. . . Дознали, что большевик. . . Приехали ночью казаки. Меня и старуху выпороли, ограбили... На улицу выгнали ночью, подожгли дом. . . Старуха ночью на улице околела. . . Вот похоронил, а самому куда деваться? . . Вот и к вам. Примите! — Мужик опять бухнулся в ноги.

— Встань! Встань, дядька! — говорил Арон, поднимая старика, точно пушинку. — Оставайся у нас. . . скоро сюда армия Красная придет. Отобьем местечко... А там уже советская власть тебя не забудет и дом новый выстроит и на обзаведение даст.

— Куда уж мне! — упавшим голосом говорил Федосий. — На что уж мне это! . . Мне бы. . . помереть бы. . .

— Ничего, поживем еще!

— Дядя Федосий, а дядя Федосий! Как там моя домашность и семейство? — приблизившись, спросил приземистый мужик, с седой бородой лопатой, с быстро моргающими маленькими глазками.

Дядя Федосий вначале махнул рукой, а потом сказал:

— Отец за тебя сидит. . . Бьют, говорят. . . Всю живность со двора согнали. . . Ликвидировали, значит.

— Ага! — протянул мужик, почему-то одобрительно кивнул головою, поежил плечами и протяжно вздохнул.

Арон подозвал одного из партизан.

— Устрой старика хорошенько. Накорми. В наряд не посылай, пусть отдохнет.

— Пусти его ко мне. . . — попросил мужик, у которого был арестован отец.

— А у вас свободно?

— Места хватит.

— Ну ступай, брат. Обсуши его. Да с вопросами не приставай. . .

Дядю Федосия увели.

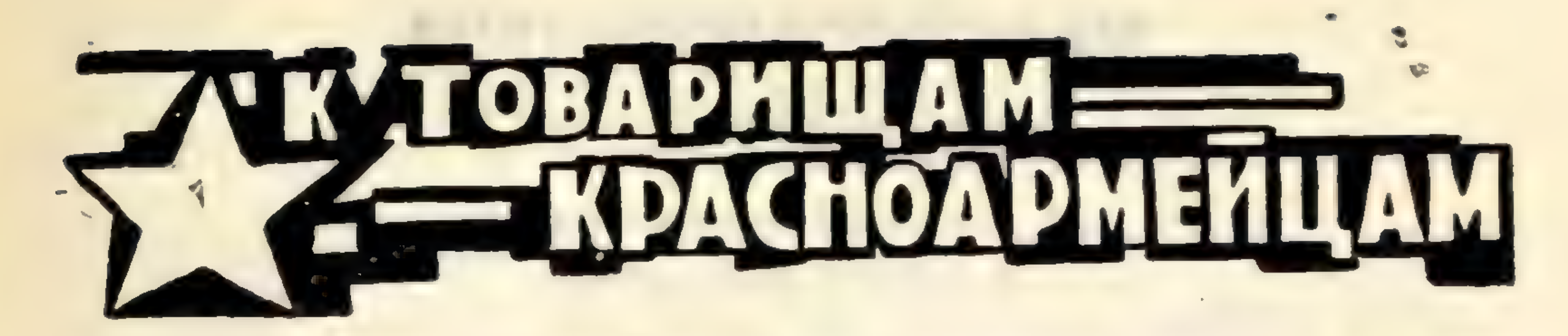
Большая половина митинговавших партизанов уже разбрелась. Оставшиеся стояли, понурив голову:

— Так вот что, товарищи,—обратился к ним Арон.— Вы видели и слышали. Если мне не верите, так своим односельчанам поверьте. А мое последнее слово к вам будет такое. Даю вам волю. Ступайте на все четыре стороны, если не хотите оставаться здесь и сражаться за свое добро, за советскую власть... Но те, которые из вас останутся в лагерях, те... никаких у меня разговоров! Дисциплина должна быть! А если что — я церемониться не буду. Дело военное. Расстреляю!! Поняли, товарищи?

— Поняли, — ответили два нерешительных голоса.

— Ну так ступайте, товарищи.

Мужики по-двое, по-трое молча разошлись в разные стороны.



(«Красноармеец» № 10—15, октябрь 1919 г.)

Товарищи красноармейцы! Царские генералы — Юденич на севере, Деникин на юге — еще раз напрягают силы, чтобы победить Советскую власть, чтобы восстановить власть царя, помещиков и капиталистов.

Мы знаем, как кончилась подобная же попытка Колчака. Не надолго обманул он уральских рабочих и сибирских крестьян. Увидав обман, испытав бесконечные насилия, порку, грабежи от офицеров, сынков помещиков и капиталистов, уральские рабочие и сибирские крестьяне помогли нашей Красной армии побить Колчака. Оренбургские казаки перешли прямо на сторону Советской власти.

Вот почему мы твердо уверены в нашей победе над Юденичем и Деникиным. Не удастся им восстановить царской и помещичьей власти. Не бывать этому! Крестьяне восстают уже в тылу Деникина. На Кавказе ярким пламенем горит восстание против Деникина. Кубанские казаки ропщут и волнуются, недовольные деникинскими насилиями и грабежом в пользу помещиков и англичан.

Будем же тверды, товарищи красноармейцы. Рабочие и крестьяне все более сплоченно, все с большим сознанием, все более решительно становятся на сторону Советской власти.

Вперед, товарищи красноармейцы! На бой за рабоче-крестьянскую власть, против помещиков, против царских генералов! Победа будет за нами!

МАНИФЕСТ ЮДЕНИЧА

Белогвардейский штаб

Д. Бедный «Генерал Юденич и пленный красноармеец»

Ты петроградец? Ярославец?
Аль из других каких ты мест?
Ступай и в Питере, мерзавец,
Всем объяви мой манифест:
Моя-де милость всем едина,
И кара тоже... по вине.
Ты, что? На вытяжку, скотина!
Не смей дышать, подлец, при мне!

Муштруя старою муштровкой
Белогвардейских дураков,
Держу по суткам под винтовкой
Нерасторопных мужиков,
Порю... На это есть причина:
Льнут, стервы, к красной стороне.
А ты... На вытяжку, скотина!
Не смей дышать, подлец, при мне!

На Петроград своих болванов
Теперь я двигаю не зря:
Трон, где сидел дурак Романов,
Получит умного царя,
Хотя б меня, — не все ль едино?
Лишь только б жить по старине.
Держись на вытяжку, скотина!
Не смей дышать, подлец, при мне!

Без черной масти нет колоды,
И масти нет без короля.
Я покажу вам, чьи заводы!
Я покажу вам, чья земля!
Клянуся честью дворянина,
Я дам вам землю... на луне.
Хе-хе! На вытяжку, скотина!
Не смей дышать, подлец, при мне!

ЛЕЖАНКА

Р. Гуль «Ледяной поход».
Из воспоминаний белого офицера

Мы выступали. . .[1]

День чудный! На небе ни облачка, солнце яркое, большое. По степи летел теплый, тихий ветер.

Здесь степь слегка волнистая. Вот дойти до того гребня, — и будет видна Лежанка.

Приближаемся к гребню.

Все идут, весело разговаривая.

Вдруг, среди говора людей, прожужжала шрапнель и высоко впереди нас разорвалась белым облачком.

Все смолкли, остановились. . .

Ясно доносилась частая стрельба, заливчато хлопал пулемет. . .

За первой шрапнелью летит вторая, третья, но рвутся высоко и далеко от дороги.

Мимо войска рысью пролетел генерал Корнилов. Генерал Алексеев проехал вперед.

Мы стоим недалеко от гребня, в ожидании приказаний.

Ясно: сейчас бой.

Приказ: Корниловский полк пойдет на Лежанку вправо от дороги, в лоб ударит авангард генерала Маркова.

Мы идем цепью по черной пашне. Чуть-чуть зеленеют всходы.

Цепь ровно наступает по зеленеющей пашне. . . вправо и влево фигуры людей уменьшаются, вдали доходя до черненьких точек.

Пиу... пиу... — долетают к нам редкие пули.

---

[1] Корниловская белая армия под напором красных отступила с Дона на Кубань.

Мы недалеко от края села...

Но вот выстрелы из Лежанки смолкли...

Далеко влево пронеслось «ура»...

— Бегут! Бегут! — пролетело по цепи, и у всех забила радостно-охотничья страсть: бегут! бегут!

Мы уже подошли к навозной плотине. Вот оставленные свежевырытые окопы, валяются винтовки, патронташи, брошенное пулеметное гнездо...

Перешли плотину. Остановились на краю села, на зеленой лужайке, около мельницы...

Куда-то поскакал подполковник Нежинцев.

Из-за хат ведут человек пятьдесят-шестьдесят пестро одетых людей; многие в защитном, без шапок, без поясов, головы и руки у всех опущены.

Пленные.

Их обгоняет подполковник Нежинцев, скачет к нам, остановился. Под ним танцует мышиного цвета кобыла.

— Желающие, на расправу! — кричит он.

«Что такое? — думаю я. — Расстрел? Неужели?»

Да, я понял: расстрел вот этих пятидесяти-шестидесяти человек с опущенными головами и руками.

Я оглянулся на своих офицеров.

«Вдруг никто не пойдет», — пронеслось у меня.

Нет, — выходят из рядов. Некоторые смущенно улыбались, некоторые с ожесточенными лицами.

Вышли человек пятнадцать. Идут к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами.

Прошла минута.

Долетело: пли!.. Сухой треск выстрелов, — крики, стоны...

Люди падали друг на друга, а шагов с десяти, плотно вжавшись в винтовки и растопырив ноги, по ним стреляли, торопливо щелкая затворами. Упали все.

Смолкли стоны. Смолкли выстрелы. Некоторые расстреливавшие отходили.

Некоторые добивали штыками и прикладами еще живых.

Около меня — кадровый капитан, лицо у него, как у побитого:

— Ну, если так будем, на нас все встанут, — тихо бормотал он.

Расстреливавшие офицеры подошли.

Лица у них бледны. У многих бродят неестественные улыбки, будто спрашивающие: ну, как после этого вы на нас посмотрите?

Построиться! Колонной по отделениям идем в село. Кто-то деланно лихо запевает похабную песню, но не подтягивают, и песня обрывается.

Вышли на широкую улицу. На дороге, уткнувшись в грязь, лежат несколько убитых людей. Здесь все расходятся по хатам. Ведут взятых лошадей. Раздаются выстрелы...

Подхожу к хате. Дверь отворена, — ни души. Только на пороге, вниз лицом, лежит большой человек в защитной форме. Голова — в луже крови, черные волосы слиплись...

Идем по селу. Оно — как умерло: людей не видно. Показалась испуганная баба и спряталась...

Начинает смеркаться. Пришли на край села. Остановились. Площадь. Недалеко церковь. Меж синих туч медленно спускается красное солнце, обливая все багряными алыми лучами.

Здесь стоят и другие части.

Кучка людей о чем-то кричит. Поймали несколько красноармейцев. Собираются расстрелять.

Револьверный выстрел. Тяжело, со стоном падает тело. Еще выстрел.

К кучке подошли наши офицеры.

Кто-то спрашивает пойманного мальчика лет восемнадцати.

— Да, ей-Богу, дяденька, не был я нигде! — плачущим, срывающимся голосом кричит мальчик, сине-бледный от смертельного страха.

— Не убивайте! Не убивайте! Невинный я! Невинный! — истерически кричит он, видя поднимающуюся с револьвером руку.

— Оставьте его, оставьте! — вмешались подошедшие офицеры. Офицер, допрашивавший мальчика, торопится, стреляет. Осечка...

— Пустите его! Чего, он ведь мальчишка!

— Беги... Счастье твое! — кричит офицер с револьвером.

Мальчишка опрометью бросился... Стремглав бежит. Топот его ног слышен в темноте.

Из темноты к нам подходит подполковник К-ой. Его догоняет офицер М. и быстро говорит:

— Кольцо, нельзя только снять.

— Ну? Нож у тебя?..

Опять скрылись... Вернулись.

— Зажги спичку, — говорит К-ой. Зажег. Оба, близко склонясь лицом, рассматривают.

— Медное!.. — кричит К-ой, бросая кольцо, — знал бы, не ходил...

Совсем темно. Черным силуэтом с крестом рисуется церковь. Едет кавалерия.

Идем размещаться на ночь. Около хат—спор, ругань.

— Мы назначены сюда, — это наш район! Здесь корниловцы, а не артиллеристы! — Артиллеристы не пускают. Шум. Брань...

Все-таки корниловцы занимают хаты. Артиллеристы, ругаясь, крича, уходят.

Хата брошена. Хозяева убежали. Раскрыт сундук, в нем разноцветные кофты, юбки, тряпки. На стенах налеплены цветные картины, висят фотографии солдат. В печке нетронута каша. Несут солому на пол. Полезли в печь, в погреб, на чердак. Достали кашу, сметану, хлеб, масло. Ужинают. Усталые, засыпают вповалку на соломе...

Утро. Кипятим чай. На дворе поймали кур, щиплют их, жарят.

Верхом подъехал знакомый офицер.

— Посмотри, нагайка-то красненькая! — смеется он. Смотрю: нагайка в запекшейся крови.

— Отчего это?

— Вчера пороли там молодых. Расстрелять хотели сначала, ну, а потом пороть приказали.

— Ты порол?

— Здорово, прямо руки отнялись, — кричат сволочи! — захохотал офицер. Он стал рассказывать, как вступили в Лежанку с другой стороны.

— Мы через главный мост вступали. Так знаете, как пошли мы на них, — они все побросали, бегут! А один пулеметчик сидит, строчит по нас и — ни с места. Вплотную подпустил. Ну, его тут закололи... Захватили мы сколько пленных на улице. Хотели к полковнику вести. Подъехал капитан какой-то из обоза, вынул револьвер... раз... раз... раз... — всех положил.

— А как пороли? Расскажи! — спросил кто-то.

— Пороли как? Это поймали молодых солдат, человек двадцать, расстреливать хотели, ну, а полковник тут был, кричит: «Всыпать им по пятьдесят плетей!»

«Выстроили их в шеренгу на площади. — Снять штаны! — Сняли. Командуют: «Ложись!» Легли.

«Начали их пороть. А есаул подошел: «Что вы мажете? — кричит, — разве так порют? Вот как надо!»

«Взял плеть, да как начал! Как даст! Сразу до крови прошибает! Ну, все тоже подтянулись. Потом по команде: встать! встали. Их в штаб отправили».

Я вышел на улицу. Кое-где были видны жители: дети, бабы. Пошел к церкви. На площади в разных вывернутых позах лежали убитые... Налетел ветер, подымал их волосы, шевелил их одежды, а они лежали, как деревянные.

К убитым подъехала телега. В телеге — баба. Вылезла, подошла, стала их рассматривать под ряд... Кто лежал вниз лицом, она приподнимала и опять осторожно опускала, как будто боясь сделать больно. Обходила всех, около одного упала сначала на колени, потом на грудь убитого и жалобно, громко заплакала: «Голубчик мой! Господи! Господи!..»

Я видел, как она, плача, укладывала мертвое непослушное тело на телегу, как ей помогала другая женщина. Телега, скрипя, тихо уехала...

Я подошел к помогавшей женщине.

— Что это, мужа нашла?

Женщина посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Мужа» ответила — и пошла прочь...

Я прошел на главную площадь. По площади носился вихрем, джигитовал текинец.

Как пуля, летела маленькая белая лошадка, а на ней то вскакивала, то падала, то на скаку свешивалась до земли малиновая черкеска текинца.

Смотревшие текинцы одобрительно шумно кричали...

Вечером, в присутствии Корнилова, Алексеева и других генералов, хоронили наших убитых в бою.

Их было трое.

Семнадцать было ранено.

В Лежанке было пятьсот семь трупов.



Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойников, то есть помещиков и капиталистов, нам нужна могучая Красная армия... *(Ленин)*

РАБОЧИЙ ОТРЯД

Фурманов «Чапаев»

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка на перроне чуть сдерживает оживленную гуляющую толпу. Сегодня в полночь отправляется на Колчака первый, собранный Фрунзе, отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, со всех заводов собрались рабочие — проводить своих товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то немного смешны на первый взгляд своей неловкостью и наивностью. Многие только теперь надели солдатскую шинель. Сидит она на них нескладно, кругом топорщится, ежится, поднимается, как тесто в квашне. Но что ж до

все стало, — пожалобился кто-то скучным, тихим, тоскливым голосом.

— Кто их знает: дела сами не ходют, их водить надо. А и вот тебе первое дело — тыща-то молодцов... Это, брат, дело — и большое дело, большое... Слышно по газетам, вон рабочих мало в армии, а надо... Рабочий человек толковее будет другого прочего... Недалеко ходить, Павлушку, возьмем, Лопаря, каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет...

— Кто говорит, известно...

— Да не то, что мужики. Ты — вон она, — на Марфушку, на «Кожаную» глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услыхав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая — она выглядывала значительно моложе своих 35 лет. Одета в новый солдатский костюм. Штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка заломлена на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить — сама придешь. Говорю, что не баба, мол, у нас «Кожаная», а кобыла настоящая...

— То-есть, это я-то, што ли?

— А то кто? Нет, нет, Марфуша, — переменил он вдруг шутливый тон, — говорю, что на воина ты крепко подошла...

— Подошла — не подошла, а надо...

— Ясное дело. А ты дома как?

— Чего — как?

— Дела-то всякие свои?

— Да што дела: ребят всех в приют засунула, иначе как же ты?

— Што делать, конечно...

— Да так и пришлось вот, — вздохнула Марфа.

— Ну, похраним, похраним, — успокаивающим тоном молвил собеседник. — Поезжай спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать? .. Придет время — и мы...

— Так вот же...— согласилась Марфа, — да и вернее всего, што так будет. На одном отряде разве можно помириться? .. Беспременно будет.

— А ребята, кажись, ничего, — мотнул собеседник головой на вагоны.

— Чего им, — ответила Марфа, — только уж ехать скорей. Ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать — только и слышишь.

— Андреев, — окликнула она одного из подходивших, — насчет отправки чего там слышно?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, 23-летний юноша, с прекрасными темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в старой коричневой шинелишке, это — Андреев. Проходит четким шагом, точно на доклад. Поравнялся, взял под козырек и без малейшей усмешки, глядя в упор на Марфу своими чудесными серьезными глазами, отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут.

Марфа его дернула за рукав.

— Прощаться-то будем, али нет? Ребята ждут. Слово бы надо там прощальное, что ли... Где Клычков? Куда он там? ..

Андреев снова взял под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил.

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство.

Марфа ударила по руке,

— Брось ты, чорт, што, обалдел, што ли? На вот, генерала какого себе нашел...

— Марфуша, — заговорил он вдруг чистым, звонким своим голосом, — а ты сама-то отчекрыжишь, поди, штонибудь?

— Да надо бы, — ответила Марфа как-то механически, не думая и, приподнявшись на носки, посмотрела через толпу. — А вон идут, кажется...

Все, стоящие рядом, тоже поднялись и вытянулись в ту сторону, куда смотрела Марфа. Там двигались трое, окруженные тесным кольцом. Вот Лопарь с черными длинными волосами, блестящими черными глазами, высокий, худой, идет, братается, словно сам себе ногой на ногу приступает.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую и умную речь, за ясные верные мысли, за голос красивый и сильный, который слыхали так часто, когда Елена говорила на митингах. Она еще не в коммунарке — повязана платком. Не в шинели, а в черном своем пальтишке, — это в январские-то морозы. На бледном и строгом лице отпечатлелась нерушимая светлая радость. Не подумаешь, что едет на фронт.

С Еленой рядом Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий. Он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица божия, тем, что добудет. Был и в студентах, но путем не дошел до конца. В революции быстро обнаружил в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть, может быть, и не всегда достаточно серьезно и дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шопотом:

— Сейчас, надо-быть, говорить станут.

— Отправляться скоро...

— Да уж раскланяться бы, што ли, — спать пора, вставать спозаранку.

— А вот расцелуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.

— Первый это, што ли?

— Первый.

— В двенадцать трогать будут...

— В самую, вишь, полночь хотят...

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с облезлыми плешивыми воротниками, с короткими рукавами, потертыми локтями. Черные, короткие тужурки — драповые, суконные, кожаные,

Вокзал не широк, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленее — зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, обводили глазами толпу из конца в конец, висели на дверных скобах. Цепляясь за карнизы, заняли все подходы, примостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка... Каждому охота продраться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, покряхтывают, немного побраниваются, но все это беззлобно, по привычке. Вот на ящике показался Клычков. Шинелишка старая, обтрепанная. Она унаследовалась от той войны. Без перчаток руки мерзнут. Он их все время сует то в карманы, то за пазуху, но толку от этого, повидимому, нет никакого. Лицо у Федора бледней обыкновенного. Две последние ночи мало и плохо спал, днями много ходил, много работал, поутомился. Голос, всегда такой чистый и звучный, глуховат что-то нынче, несвеж, печален, если можно так сказать про голос.

Клычкову дали первое слово. Он будет от имени от-

ряда прощаться с рабочими. Холодно, позамерзли все, надо торопиться, речи должны быть очень кратки. Федор обвел глазами и не увидел концов толпы. Они, концы, были где-то за пределами площади, освещенной газовыми рожками. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в черной тьме, стоят еще, а за теми еще новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он со всей силой вдруг почувствовал, как дорога ему черная толпа, как жаль, как тяжело с нею расставаться.

«Увижу ли?... Вернусь ли... Да и все вернемся ли еще когда в родные места? — мчались-спешили мысли-сомнения.— Приду ли еще когда, стану говорить, как говорил с ними так часто до сих пор?»

Переполненный скорбным, тяжелым чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет говорить, он крикнул как-то особо громко. Так он не кричал никогда.

— Товарищи-рабочие. Остались минуты. Пробьют последние звонки, и мы уйдем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте. Помните нас, своих товарищей, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы сами итти за нами по первому зову. Не порывайте с нами связь, посылайте весточки, шлите, что можете, помогайте. На фронте голодно, трудно, труднее, чем здесь. Не забывайте это. А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод, не оставляйте их. Тяжко будет сидеть в окопах, страдать в походах, гибнуть в боях. Но стократ тяжелее будет нам, если узнаем еще, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, забытые... Потом, работайте. Вы — ткачи, и знайте: чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях, везде, куда попадет отсюда

ваше добро. Работайте, запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли еще когда? Станем верить, что да. Но если и не будет встречи — что тужить! Революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте... Счастливо... Не забудем... Возвращайтесь скорее... Прощайте.

Никто не кричал ура, никто не хлопал в ладоши. Настроение было иное, более сосредоточенное, серьезное. «Елена... Елена...» шопотом пошло по устам. На ящике стояла Куницына.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы останетесь тылом, но одному без другого никак не устоять. Выручка, выручка — вот в чем главная задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно, ничто не будет трудно, а ежели у вас тут кисель образуется — какая там будет война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучались: али за зря, понапрасну? Нет, товарищи. Вот ведь и мы идем, женщины, нас в отряде двадцать шесть человек. Мы поняли, какой это большой момент переживает сейчас вся страна. Надо итти—вот вам и весь сказ. Женщины— матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги — все они посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустная радость, горячие отклики, клятвы, благодарности...

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масляной фуражке, в валеных сапогах старый ткач, морщинистый, с клинистой тощей бородкой:

— Да, мы ответим. — Он замялся на секунду и вдруг

обнажил голову.— Собирали мы вас, знали на што. Всего навидаетесь, всего испытаете, может и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши,— ничего, что тяжело — скажем: ступайте. Коли надо итти — значит итти, тут нечего промозоливать. Дескать, не соромите, в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, — легче будет. Мы вам тоже говорим, что детей не оставим, жен не забудем, помогать станем всем... Так, значит, и прощайте, я все сказал, што надо, а больше нечего. Так ли, товарищи? — обратился он к толпе.

— Верно... правильно... правильно... — со всех концов неслось ответом.

Старик спустился вниз. В это время пробил второй звонок.

Клычков вскочил в последний раз на ящик:

— Ну, прощайте, еще раз прощайте. За нашу встречу, товарищи, за будущую встречу: ура.

— Ура... ура... ура...

Чуть поутихло — команда:

— Отряд, по местам.

И замелькали шапки, фуражки, коммунарки, послышались последние поцелуи, напутственные, прощальные, торопливые речи, советы, просьбы, утешения. Кой у кого из оставшихся не выдержало сердце: всхлипывал тихонько, черным рукавом по лицу размазывал слезы.

Отряд уже в вагонах. Еще ближе примкнула толпа. И кажется она из вагонных окон какой-то безликой сплошной темной массой, со своей особенной темной жизнью, со своим особым механизмом, который всю ее разом приводит в движение, заставляет волноваться, радоваться, горевать...

Третий звонок... Засвистели свистки, загудели гудки, зафыркала паровозная глотка, зачадила, задышала,

Лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатились...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Так до полной разлуки, когда вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все дальше и дальше уходило в черную ночь...

Понурые, скорбные, с тяжелыми речами, иные со слезами, в полуночном январском холоду расходились со станции по домам рабочие.



Высокая честь организатора наших побед принадлежит... великому коллективу передовых рабочих нашей страны — РКП(б) *(Сталин)*

ТОВАРИЩ КЛИМ

(Из жизни К. Е. Ворошилова)

Т. Мещеряков

Луганск во власти белых. Кутежи, пирушки и частые выезды контрразведчиков в рабочие кварталы и как следствие этого — ежедневные казни.

Кучки рабочих толковали разное. Кто говорил, что красные далеко, кто — близко.

И, наконец, слух твердый принес сбежавший от конвоя белых пленный красноармеец:

— Наши совсем недалечко. Мы — ворошиловцы. У нас командарм — Ворошилов.

Рабочие — недоверчиво:

— Какой-такой Ворошилов? Не наш ли? Его случаем не Климом ли зовут?

— Клим Ефремыч!

— Да ну? Высокий?

— Ну, да!

— Он!

И шопотом от станка к станку передают:

— Клим... с армией близко, мы ужотка завтра с Петькой идем...

— Нынче обрубщики ушли...

— Вчера из токарного восемь ушло...

А у станции Кременчуг стоял поезд. И ежедневно по нескольку десятков человек спрашивали вагон Клима и шли к командарму 14, товарищу Ворошилову, просили его:

— Так што, Клим, ты уж наладь в какую-нибудь роту... У меня винтовка своя... Двое, трое — не как один.

Ворошилов жал торопливо руки, мельком расспрашивая про родной завод, и назначал друзей-рабочих по строевым частям.

1919 ГОД

И. Жига

Далекий, глухой шахтерский поселок раскинулся вокруг центральной шахты. Ни маленьких деревянных домиков, ни улиц, ни света не было видно. Сырая промозглая ночь задавила поселок, и он умолк, как бы задохнувшись в тяжелом тумане.

Мы вместе с товарищем Бумажным возвращались с митинга. И после того, что было на митинге в клубе, после того невыразимого ужаса, который охватил нас

всех при известии о смерти Ленина, мы, подавленные, растерянные, молчали. Не о чем было говорить. Мысли путались, прыгали с одного предмета на другой.

Мы пришли в маленькую шахтерскую комнатку. Молча напились чаю и легли отдохнуть. Бумажный, грустный, усталый, заложив руки за голову и неподвижно глядя в потолок, вздохнул и тихо проговорил:

— Эх, Ильич, помню я тебя, очень хорошо помню. В самый великий момент впервые я тебя увидел, увидел в Смольном в Октябрьский переворот.

Бумажный приподнялся, посмотрел на меня и, убедившись, что я его слушаю, продолжал:

— Ты не знаешь, какой это был чудный момент, момент, когда как бы перекувырнулась мировая история. Я часто пытался написать об этом, но у меня нехватает сил, я не умею все это выразить, трудно это.

— Ну, вот, ты представь себе Питер, — воодушевляясь продолжал Бумажный. — Этот угрюмый, прямолинейный Питер с длинными, прямыми, широкими улицами в центре и заводами по краям.

Ночь. Жуть. По улицам ходила революция. В темноте под сырым октябрьским небом, нарушая тишину, она грохотала грузовиками, ходила красногвардейскими патрулями по городу, только слышалось:

— Стой, кто идет, пропуск!

Тускло горели редкие фонари, один-два на всю улицу. Остальное пространство заполняла ночь. На перекрестках улиц горели костры — огни революции.

Ночь надвигалась на них, и, казалось, в самом воздухе, в меняющихся красках сырой осенней ночи происходила борьба. Это было именно так.

Революция тогда глядела из каждого переулка. Каждый дом был словно человек, над которым кто-то за-

махнулся. Все дома были с испуганно-закрытыми глазами, и Питер от этого почернел.

Смольный, как огромная воздуходувная машина, беспрерывно работал, накачивая революционным воздухом страну. Грохнул пушечный удар крейсера «Авроры» по Зимнему. Загремели ружейные выстрелы, застучали они по стеклам Смольного. Тогда в актовом зале Смольного, на съезде, в момент наивысшего напряжения поднялись, затрепетали и забились в истерике маленькие люди:

— Это безумие!.. Это заговор!.. Гибель!.. Кровь!..

А он, Ленин, сидел за столом президиума, смотрел на беснующихся людей, слушал и улыбался. А потом, когда успокоились стекла от грохота, когда ушли больные людишки, когда стало известно, что их друзья и товарищи уже в Петропавловской крепости, — Ленин встал и, поблескивая глазами, глуховатым голосом спокойно проговорил:

— Ну, что ж, товарищи, дело сделано и сделано великолепно, теперь пора и за работу.

И было очень понятно нам, что мы должны теперь работать непрерывно, до смерти, чтобы раздуть эту гигантскую доменную печь которую называли — Россия.

И мы, как видишь, раздули ее...

С тех пор прошло вот уже шесть с половиной лет. Скоро будем выпускать первую плавку социалистического металла. Формовщики уже готовят формы, скоро будет величайшее торжество, и в этом торжестве не будет участвовать он, наш гениальный механик, наш руководитель, наш милый Ильич...

Бумажный долго молчал, потом встал, закурил папиросу, снова лег на постель.

— Не могу спать, — сказал он. — Вот только что он скрылся из памяти, такой, каким я его видел на том

партийном собрании, а сейчас я снова вижу его, как видел в 1919 году в Петрограде. Ты не был тогда в Петрограде? Э, брат. Значит, ты не знаешь, что такое девятнадцатый год...

Это было весной. Питер умирал с голода. По карточкам мы получали фунт овса на неделю. Этот овес рубили в мясорубках, прибавляли картофельной шелухи, кофейной гущи, горсть отрубей и пекли лепешки. Они были горькие, колкие, не просунешь в горло. И мы глотали их без чая и сахара, прямо запивая горячей водой, словно щеткой продирая горло. Жмыхи — это было богатое кушанье. По два-три дня ничего не ели. По неделе не выдавали даже и овса.

И в такое время мы были принуждены отправлять лучших работников на фронт. Сколько их уехало — в Сибирь, на Украину, на Дон, с семьями и со всем скарбом! Питер опустошался и в Питере начинались забастовки. Меньшевики и эсеры тогда пользовались случаем, притворялись защитниками рабочих и заводили бузу. На что Путиловский завод — и тот не выдержал,— забастовал. И вот в такой момент приезжает к нам Ленин.

Помню дворец Урицкого. Собрались мы, представители заводских и красноармейских организаций, около трех-четырех тысяч человек. Зал был набит до отказа. Я стоял у самой трибуны внизу, так что Ленин был аршина на два выше моей головы. Я отчетливо видел его, плотно сложенного, в костюме темносерого цвета, в немецкой рубашке с галстухом. Живое энергичное лицо, короткая, плотная шея. Когда он появился за столом президиума, мы все захлопали в ладоши. А он, не обращая на это внимания, быстро разделся, пальто положил на спинку стула, сел, оперся руками на колени и внимательно, как-то озабоченно смотрел на нас — на рабо-

чих, работниц, красноармейцев. Мне казалось тогда, что ему хочется увидеть и понять, что мы чувствуем, что переживаем, что осталось в нас революционного, кроме этих хлопушек по его адресу. И, когда зал успокоился, когда председатель объявил, что слово предоставляется товарищу Ленину, он так же быстро встал, и, словно приступая к работе, прошел на трибуну. Зал снова загремел аплодисментами. По быстрым взглядам Ленина можно было понять, что ему хочется не самому начинать, а побольше, поглубже почувствовать нас. Ведь давно он не был среди петроградских рабочих. Знал он, что мы голодаем, и те несколько минут аплодисментов нужны были ему для того, чтобы охватить массу целиком, определить ее настоящее настроение и по этой лучшей части петроградских рабочих составить себе мнение о всем Петрограде. По Питеру он определял настроение всего рабочего класса. По Питеру он судил и о подъеме и об усталости масс. Если, скажем, в Питере рабочие устали, то где же они будут бодры?

Я помню, как он начал говорить, как зазвучал в зале его сдержанно-страстный глуховатый голос. На наши головы полетели немножко картавые слова. Эти слова не были митинговой агитацией, в них не было ничего красивого. Была только страшная неприкрытая правда. Помню, начал он свою речь с того, что «страна переживает неслыханный голод». Он не говорил, что вот вы, мол, питерцы, переживаете голод, он не жалел нас. Он как будто говорил не нам, питерцам, пришедшим сюда с желудками, в которых вместо хлеба — вода. Он говорил: «С т р а н а переживает голод». И это казавшееся сначала обидным для нас, питерцев, сразу же толкало на мысль: «А разве только мы одни голодаем?»

Он нарисовал нам голод страны. Без всякой утайки рассказал, что у нас ничего нет, что правительство вы-

нуждено приостановить пассажирское движение, чтобы освободить паровозы для подвозки хлеба, что нам грозит ужасная голодная катастрофа. Не скрывая, не утаивая нашего отчаянного положения, он говорил с ужасающей прямотой. Помню, по коже драл мороз от таких слов: «если мы не сумеем отвоевать хлеб у белогвардейцев — мы погибнем». Но он тут же спрашивал у собрания:

— Кто виноват в этом голоде?

И отвечал:

— Помещики и капиталисты всех стран, которым ненавистна наша советская страна, которые хотят нас задушить во что бы то ни стало. Наша революция, таким образом, подвергается самым серьезным испытаниям. И если ты — рабочий, если ты угнетен и думаешь о том, чтобы скинуть власть угнетателя, то должен знать, что тебе придется выдержать натиск угнетателей всего мира. Если ты готов к этому натиску, если готов дать отпор, пойти на новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, — тогда ты — революционер...

Бумажный умолк, приподнялся с постели, бросил потухшую папиросу, взял другую, чиркнул спичку и посмотрел на меня.

— Хорошо, что не спишь, — сказал он. — В другой раз ведь некогда будет говорить о нем.

Бумажный снова лег, затянулся табаком, с минуту помолчал, словно что-то припоминая, потом проговорил:

— Вот уж теперь не припомню я всей этой речи. А как жаль... Сколько было огня в ней! Как сейчас помню, стоит он надо мной, крепко схватившись руками за край трибуны, говорит быстро, без передышки, страстно. Редко так говорил Ильич.

У него так блестели глаза, такой страстью звучал его голос, что у меня как-то невольно получилось такое ощу-

щение, будто он взял пальцами веки моих глаз и начал их приподымать, приподымать... Я до этого как будто находился в потемках. И вот вдруг начинаю видеть, я вижу все больше и больше. Я подымаюсь на какую-то высоту, вот я уже поднялся, я начинаю видеть мир, начинаю чувствовать, что я на этот мир смотрю глазами Ленина. И мне также все становится понятным и ясным. Понятно, что все то, что мы переживаем, неизбежно, что другого выхода у нас нет. Ты видишь мир с его голодом, борьбою и кровью, с его страданиями, порывами. Видишь невероятный порыв миллионов, а среди этих миллионов видишь себя, и в глазах — близкая, совсем близкая жизнь, радостная, светлая...

Повидимому, такое состояние было не только у меня. Я видел, как у многих рабочих горели глаза, горели особенно вдохновенным порывом.

А он, как будто зная наше настроение, говорил:

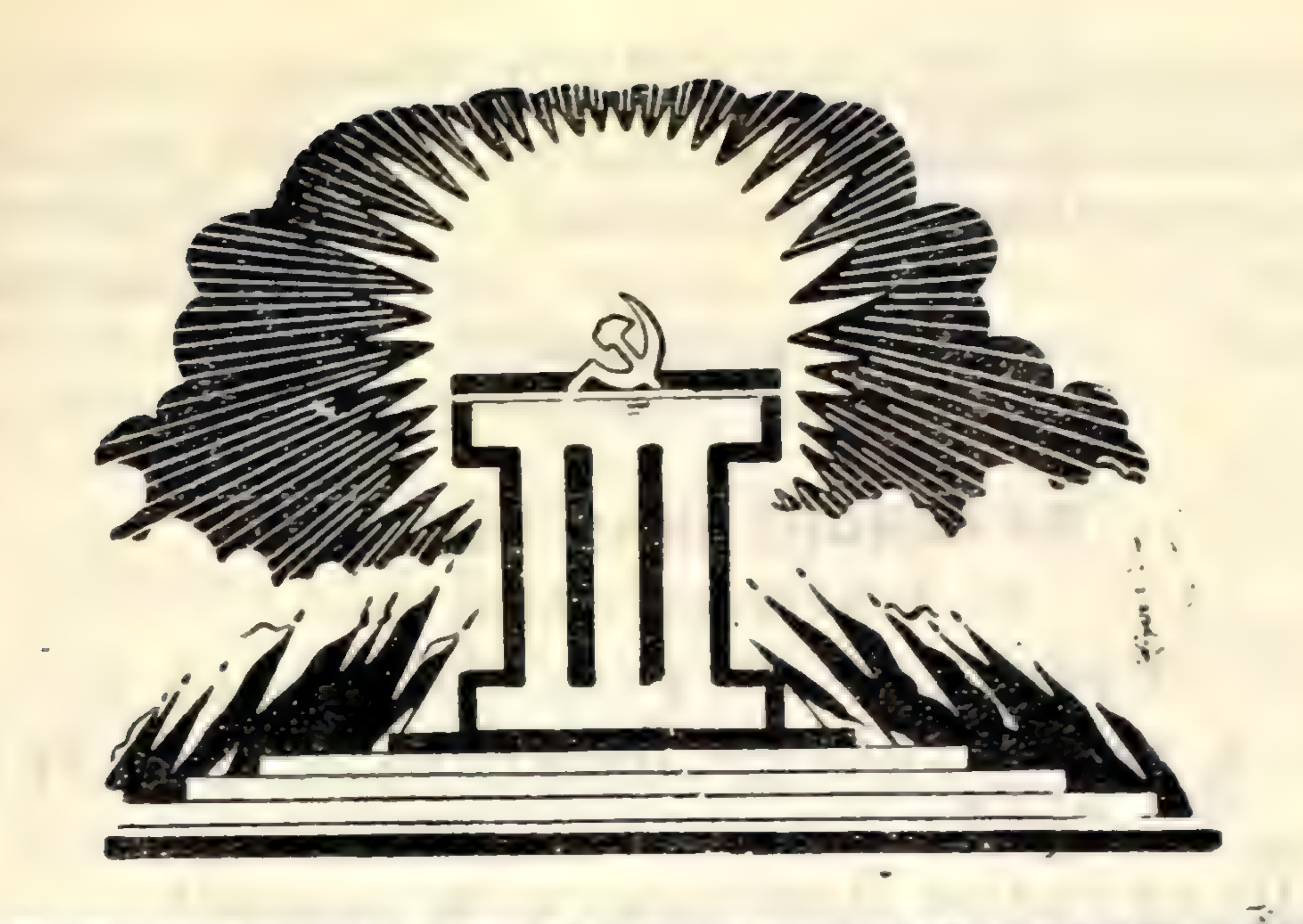
— ... Немцы разорили Украину. Там полный хаос. Вопль несется от посланных товарищей, что нет людей, что некому строить советскую власть, нет такого пролетарского центра, как Питер или Москва. А украинские пролетарские центры в руках неприятеля. Донецкий бассейн, — измученный голодом, не освобожден от казаков. Мы говорим поэтому от лица украинских товарищей питерским рабочим: — Дайте еще, напрягите еще ваши усилия. — Мы можем, мы должны помочь украинским товарищам. И мы говорим себе: при всех трудностях, при всех невероятных условиях, мы все-таки рассчитываем на сознательность честных рабочих. Они будут за нас, они придут к нам и они нам помогут.

Весь зал дворца Урицкого превратился после этого в какой-то бурлящий котел, готовый лопнуть от напряжения человеческой воли, подъема, решимости.

И рабочие, питерские рабочие, голодные, с овсом и

кофейной гущей в желудках, с бледными, опухшими от голода лицами, быть может за несколько часов перед тем ругавшие советскую власть, — эти рабочие выходили теперь из дворца Урицкого, крепче подтягивали ремнями животы и с песнями, с песнями шли по улице, решив выдержать, налечь еще на себя, решив победить или умереть...

Голос у Бумажного дрогнул и в темноте комнаты прозвучал, как оборванная струна...



ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРОВАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ III КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

СОВЕТСКАЯ МАРСЕЛЬЕЗА

Эрих Мюзам

Чего вы медлите, народы?
День нарастает все быстрей.
Вы ожидаете свободы,
Когда свобода у дверей.
Иль вам не слышен зов с Востока?
Он к вам летит, он ищет вас;
Освобожденья близок час,
И он раскинется широко.
Уж зерен солнцем разогретых,
Не удержать в земном гробу.
Молчи ж, богач! Твою судьбу
Решит народ в своих советах.

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Перевел *Абрам Эфрос*

ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА

Вс. Вишневский «Первая Конная»

Рванулась Конная. Из кольца ушла и снова гремит. Но попал в плен братан один.

Полковник. Прикажите ввести пленного!

Адъютант отдает честь и выходит. Быстро возвращается. Входит в буденовском шлеме и гимнастерке без пояса пленный красноармеец. За ним часовой — в начищенных ботинках и ладных обмотках. Пленный одергивает гимнастерку. Стоит, чуть расставив ноги. Крепкий, высокий, широкоплечий. Разглядывает офицеров. Один офицер шепчет ему: «Шапку долой!» потом суется к буденовке. Боец защитно поднимает руку, отводит руку офицера и сам снимает шапку. И стоит, как прежде.

Полковник. Здорово!

Боец *(вежливо)*. Здрасьте!

Полковник. Какого полка, дивизия?

Боец *(гордо и серьезно)*. Нашево коннова полка боец.

Полковник. Номер?

Боец. Неграмотный я.

Полковник *(подумав)*. Много ли вас, красных?

Боец. Много.

Полковник. Точно. Сколько?

Боец *(строго)*. В Рассеи мильонов с полтораста.

Полковник. Говори, не дури, где красные части расположены?

Б о е ц *(убежденно).* Расположены по всему свету... *(Бережно поднимает буденовку и пальцем указывает на звезду.)* Вот где: в Европе — раз *(трогает один конец звезды),* в Азии — два *(другой),* в Африке — три *(третий),* в Америке — четыре *(четвертый)* и пять... *(палец повисает).* Ишо как — забыл. Комиссар знает.

Офицеры изумлены и смотрят на полковника.

П о л к о в н и к. Ты что? Смеешься?

Б о е ц *(строго).* Как на присяге, все всерьез. Какой тут смех! Не с девками хоровожусь.

П о л к о в н и к *(сдерживая гнев).* Поговори еще!

Б о е ц *(строго, снисходительно).* Ладно, поговорю. Вот объяснил, где расположены мы. И верно. *(Серьезно).* Шли, скажем, с боями — ишо с Царицына, — народ падает в эскадронах — другие валят... Везде. Добровольные бойцы. Вот и выходит — што везде расположены. Валом валят к нам.

Пауза. Офицеры застыли.

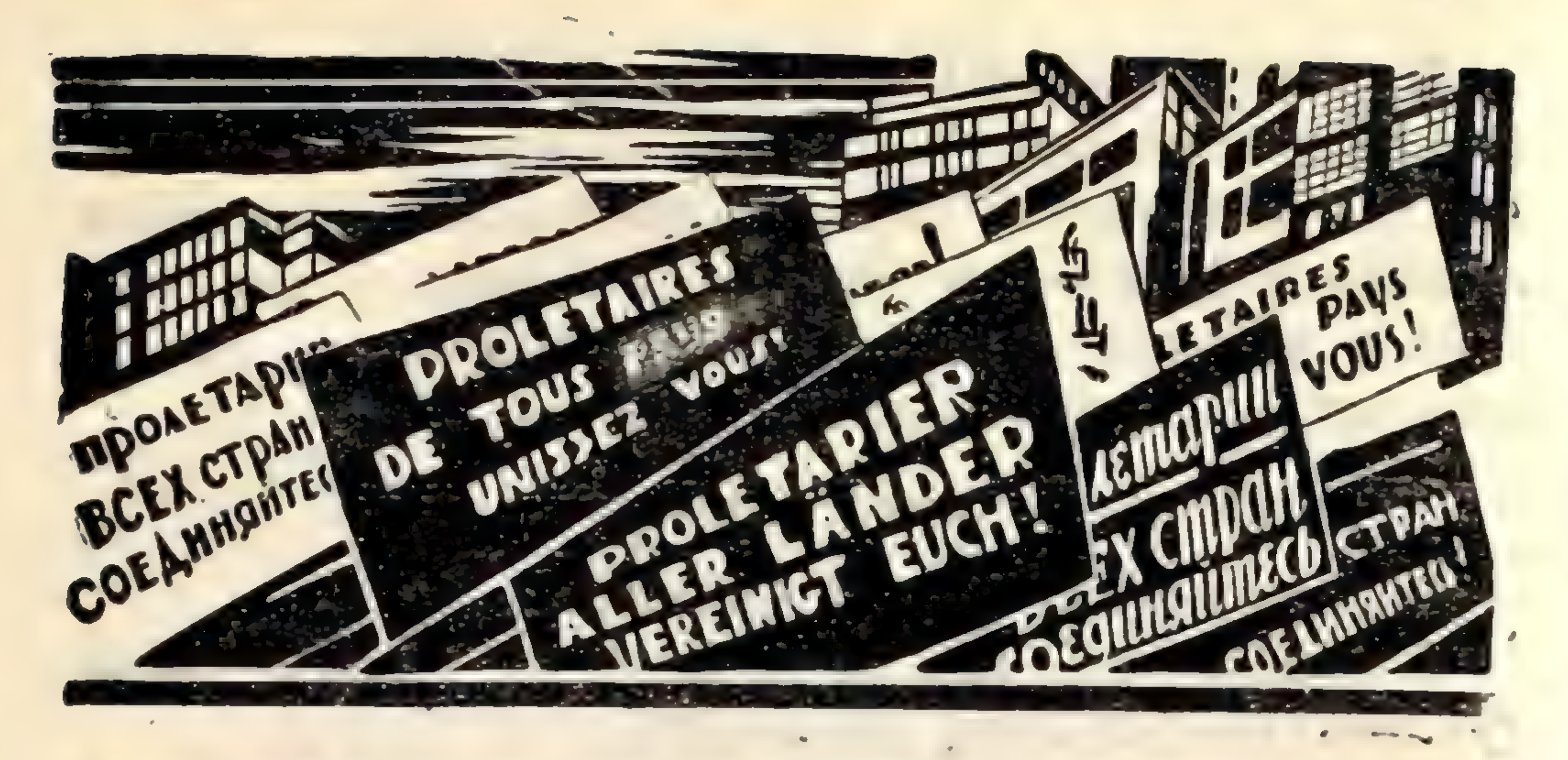
П о л к о в н и к *(ревет).* Ты, босяк, тут агитацией заниматься!

Офицеры суровеют.

Б о е ц. Зачем? Я истинно глаза открываю.

П о л к о в н и к. Кто тебя тут услышит? *(Рукой на офицеров и часового.)*

Б о е ц. Услышат! Верное слово — оно слышно! *(Рукой широко вокруг).*



Значит мы победили не потому, что были сильнее, а потому, что трудящиеся стран Антанты [1] оказались ближе к нам, чем к своему собственному правительству *(Ленин, т. XII, стр. 6)*

ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ

Вс. Иванов «Бронепоезд № 1469»

Иностранная буржуазия поддерживала русских белогвардейцев не только деньгами, оружием, снаряжением, но и своими войсками. Обманутые солдаты дрались и умирали за интересы капиталистов. Но, сталкиваясь с революционными рабочими и крестьянами, многие из иностранных сол-

[1] Автанта — военный союз крупных капиталистических государств (Англия, Франция и др.), направленный во время империалистической войны против Германии, а после Октябрьской революции против Советского союза.

дат начинали понимать, кто является их действительными врагами и друзьями.

Рассказ Вс. Иванова дает картинку из борьбы крестьянских партизанских отрядов Сибири в 1919 г.

Шестой день партизаны уходили в сопки.[1]

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади, по линии железной дороги и глубже, в полях и лесах хозяйничали атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель. Они жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь. Они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

* * *

Мужик с повязанной головой бешено выгнал из переулка свою гнедую лошадь.

Тело его влипло в плоскую лошадиную спину. Лицо танцовало, тряслись кулаки и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы! ..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди их шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

---

[1] Сопки — безлесные вершины горы.

Длиннопогий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался председатель партизанского штаба Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал казначей отряда Окорок. — Никита Егорыч Вершинин. А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать.

—Привел его к тебе, Никита Егорыч, Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ. Как есть все село попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну муку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцы-то! На траппанке в жестянках молоко везли! Дурной народ, воевать приехали, а молоко жрут с шеколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну, и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и как с судьи не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели.

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи. От этого движения еще сильнее захлестнула злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!..

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали:

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-моему, товарищи, — распропагандировать его — и пустить. Пущай большевицкую правду понюхат. А я так полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кхе!..

— Хо-о!...

— Прореху-то застегни, чорт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!..

— Чать тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно...

— Лупи!!.

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

—Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые краснобронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде. Громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни! Подробно! Не хорошо, мол!

— Против свово брата заставляют итти!

— Зачем нам мешать?

Вершинин степенно сказал:

— Люди все хорошие, должны понять. Такие ж крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим! У вас, поди, этого не знают, за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повыпались, густели.

Американец беспомощно оглянулся. Он не понимал по-русски.

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникает! По-русски-то не знает, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущение.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет! .. Тут только надо! .. Он поймет! ..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Китаец Син Бин-У лег на землю подле американца. Закрыв ладонью глаза, он тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука-мученическая! — сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны, — сказал Знобов. — кабы с картинками! ..

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины. Она долго рылась в сундуках. Наконец, принесла истрепанный, с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

— Може по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественные. Нам его не перекрещивать. Не попы!

— А ты попробуй, — предложил Васька.

— Как его? Не поймет, поди!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда!

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин, — сказал твердо и громко Знобов и как-то неясно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно что-то забормотал.

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, почему-то ломаным языком прокричал:

— Советска республика!

Американец протянул руки к мужикам. Щеки у него запрыгали:

Мужики радостно захохотали.

— Понимает, стерва!

— Вот, сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять.

— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, правда? Про-ле-та-риат!

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-риат!

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам! За морями-то...

— Будет тебе, ветрень! — говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то — японец, американка, англичанка — вся эта сволочь, империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил на своем языке:

— Империализм! Долой!

Знобов с ожесточением швырнул фуражку о-земь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-У подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а! Кытайси ресыпубылика-а! Мериканысы ресыпубылика-а пухао! Нипонсы, пухао, надо, надо, ресыпубылика-а! Кыра-а-спа ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец руки кверху, проговорил:

— Шанго! [1]

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить. Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем. Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо! Не выдаст!

---

[1] Хорошо.



Мы.. говорим себе: англо-французскому империализму мы отпор дать можем. Каждый шаг укрепления нашей Красной армии будет иметь эхом десять шагов разложения и революции в этом кажущемся столь сильном противнике

(Ленин, т. XV, стр. 518)

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СЕВЕРЕ

Э. Синклер «Джимми Хиггинс»

Американский рабочий Джимми Хиггинс во время империалистической войны становится солдатом американской армии. После Октябрьской революции и выхода России из войны его часть отправляют в Россию в помощь французским и английским войскам, посланным для борьбы с Советами. Здесь под Архангельском, занятом белыми, Джимми впервые сталкивается с большевиками.

Джимми встретился с человеком, которого едва не принял за одного своего старого знакомого. Рослый,

чернобородый крестьянин привез дров для печей, и ему помогал какой-то еврей. Это был малый с острыми чертами лица и проницательными черными глазами. Щеки у него провалились, словно он не ел как следует уже несколько лет, а грудь надрывалась от кашля. Он кутал ноги и руки в тряпки, потому что у него не было ни сапог, ни перчаток. Однако, он казался жизнерадостным и, сбросив на землю охапку дров, кивнул головой и произнес:

— Алло!

— Алло! — ответил Джимми.

— Я говорю по-английски, — сказал тот.

Джимми улыбнулся и сказал:

— Да ну?

— Я был в Америке, — продолжал его собеседник. — Я работал в потогонной мастерской на Большой улице.

Повидимому, он предпочитал болтовню носке дров. Он не уходил и начал задавать вопросы:

— Вы работали в Америке?

Крестьянин что-то проворчал ему по-русски, и он снова принялся за работу. Но, как только тот вышел, он сказал:

— Я как-нибудь поболтаю с вами об Америке?

На что Джимми, конечно, ответил дружеским согласием.

Часа через два-три, возвращаясь домой с работы, он увидел, что маленький еврей поджидает его в темноте.

— Иногда я скучаю по Америке, — сказал он и пошел вниз по улице вместе с Джимми, похлопывая худыми руками, чтобы согреть их.

— Почему вы вернулись сюда? — спросил Джимми.

— Я прочитал о революции и приехал. — Вы принадлежите в Америке к какому-нибудь союзу? — в свою очередь спросил еврей.

— Можете быть в этом уверены, — сказал Джимми.

— К какому именно?

— Механиков.

— Может, вы участвовали в стачках?

— А уж это так и есть.

— Может, вам попадало за это?

— Ну, конечно.

— Вы никогда не были штрейкбрехером,[1] а?

— Повидимому, нет.

— Вы, как говорится, классово-сознательный?

— Ну, да. Я социалист.

Тот повернулся к нему, и голос у него задрожал от неожиданного волнения.

— У вас есть красная карточка?

— Ну, да! — сказал Джимми. — Во внутреннем кармане куртки.

— Боже мой! — воскликнул тот. — Товарищ! — Он протянул Джимми руки, которые были обмотаны обрывками старых рогожных мешков. — Товарищ! — произнес он по-русски. И, стоя здесь, в морозной темноте, оба почувствовали, что сердца у них прыгают от радости, согревшей их своим жаром. Здесь, в этой дикой и ледяной стране, даже здесь дух международного братства производит чудеса.

Но затем, трясясь от волнения, маленький еврей вцепился в Джимми своими обмотанными руками.

— Если вы социалист, то почему вы сражаетесь с русскими рабочими?

— Я с ними не сражаюсь.

— Вы носите форму.

— Я только мотоциклист.

---

[1] Штрейкбрехер — тот, кто становится на место бастующих рабочих и тем помогает срывать забастовку.

— Но вы оказываете помощь. Вы убиваете русских. Вы уничтожаете Советы. Почему?

— Я об этом ничего не знал, — стал защищаться Джимми. — Я хотел драться с немецким кайзером,[1] а меня привезли сюда, ничего мне не сказав.

— А! Так всегда бывает при капитализме. Мы рабы. Но мы будем свободными! И вы нам поможете, вы не станете убивать русских рабочих.

— Не стану! — воскликнул Джимми поспешно.

И маленький незнакомец взял Джимми под руку.

— Пойдемте со мной, живо. Я покажу вам что-то, товарищ.

Они зашагали по темным улицам, пока не дошли до ряда рабочих лачуг, построенных из бревен, со щелями, замазанными грязью с соломой. — Это были жилища, которые ни один американец не счел бы пригодными для помещения в них скота.

— Так живут рабочие, — сказал незнакомец и постучал в дверь одной из лачуг. Дверь отворила женщина. Несколько ребят цеплялось за ее юбки. Мужчины вошли в комнату, освещенную тусклой коптящей лампой. В стороне стояла громадная печь с котлом, в котором варилась капуста. Незнакомец ничего не сказал женщине, но указал Джимми на стул у печки и устремил взгляд своих проницательных черных глаз на его лицо.

— Вы покажете мне карточку? — неожиданно сказал он. Джимми снял с себя овчинную шубу, расстегнул надетый под нею свитер и из внутреннего кармана своей куртки достал драгоценную карточку. Незнакомец стал изучать ее, а затем кивнул головой.

— Хорошо. Я вам доверяю! — И, возвращая обратно

---

[1] Кайзер — император Германии.

книжку, заметил: — Меня зовут Калинкин. Я большевик.

У Джимми сердце так и подпрыгнуло, хотя он, конечно, и сам уже начинал догадываться.

— Мы называли нашу местную группу в Америке большевистской, — сказал он.

— Нас отсюда гонят, — продолжал еврей, — но я остался в тылу для пропаганды. Я ищу товарищей среди американцев, среди англичан. Я говорю: не сражайтесь с рабочими, сражайтесь с хозяевами, с капиталистами. Вы понимаете?

— Конечно! — сказал Джимми.

— Если хозяева найдут меня, они меня убьют. Но вам я доверяю.

— Я не расскажу! — сказал Джимми быстро.

— Вы мне поможете, — продолжал тот. — Вы пойдете к американским солдатам, вы скажете: русский народ был рабом столько лет. Теперь он получил свободу, а вы пришли убивать русских и снова обращать их в рабов? Зачем это? Что они скажут, товарищ?

Джимми отвечал:

— Они скажут, что хотят вздуть немецкого кайзера.

— Но ведь и мы помогаем бить кайзера. Мы сражаемся с ним.

— Они скажут, что вы заключили с ним мир.

— Мы боремся с ним пропагандой, тем способом, которого кайзер боится больше всего на свете. Мы тратим миллионы рублей, мы печатаем газеты, листки — вы сами знаете, товарищ, что делают большевики. Мы посылаем эти листки в Германию, мы разбрасываем их с аэропланов, у нас имеются печатные станки. Германцы читают, они думают, они говорят: почему мы сражаемся за кайзера, почему бы нам не сделаться свободными, как русские? Я знаю это, товарищ, я говорил со многими гер-

манскими солдатами. Движение распространяется по Германии, как пожар. Может быть это займет некоторое время, но когда-нибудь люди увидят, что большевики были правы.

— Я все это отлично понимаю, — сказал Джимми. — Что же мы можем сделать?

— Вести пропаганду, — воскликнул Калинкин. — Мы всюду кричим рабочим: поднимайтесь! Поднимайтесь и разбивайте свои цепи! Вы думаете, они не станут нас слушать, товарищ? Капиталисты знают, что они нас будут слушать, они трепещут, вот почему они посылают повиноваться им вечно, — не так ли?

— Они думают, что русский народ восстанет против армии, чтобы бить нас. Они думают, что армии будут вас.

На это маленький человек рассмеялся безумным, веселым смехом.

— Мы получили свое собственное правительство. В первый раз в России, в первый раз в мире правят рабочие. А они думают, что мы восстанем против самих себя. Они создают здесь в Архангельске правительство, которое называют русским. Они дурачат самих себя, но не одурачат русских.

— Они считают, что правительство будет распространять свою власть все дальше, — сказал Джимми.

— Оно будет распространять свою власть только до тех пределов, до каких доходит армия. Только до этих пределов. Но в России весь народ действует заодно. Все становятся большевиками, когда видят приближение иностранных армий. А почему, товарищ? Потому, что они знают, что это значит, когда капиталисты являются и создают новое правительство для России. Это значит, уплачивать французские, британские долги. Вы знаете?

— Разумеется, я знаю, — сказал Джимми.

— Это миллиарды, пятнадцать миллиардов рублей одной только Франции. Большевики сказали: мы вам не так-то скоро их заплатим. А почему? Что они делали с этими деньгами? Они ссудили их царю, а для чего? Чтобы превратить русский народ в рабов, погнать его в армию и заставить сражаться с японцами, создать полицейские отряды и сослать сто тысяч русских революционеров в Сибирь. Разве это не так? И большевики будут платить такие долги? Не так-то скоро. Мы говорили: мы не имеем никакого отношения к этим деньгам. Вы ссудили их царю, ну, так и получайте их с царя. Но они говорят: вы обязаны платить. И посылают армии захватывать русские земли, брать нефть, уголь и золото. Так-то, товарищ. Они хотят свалить Советы. Но для этого им придется брать каждый город, каждую деревню в России, и все это время мы будем вести пропаганду среди солдат. Мы поведем ее среди французов, англичан и американцев совершенно так же, как ведем ее среди германцев.

Маленький человек произнес длинную речь и выбился из сил. Им овладел припадок кашля. Он прижал руки к груди, и его бледное лицо при свете огня вспыхнуло красным заревом. Женщина принесла ему воды напиться и остановилась около него, положив ему руку на плечо. Ее широкое крестьянское лицо, с глубокими морщинами от забот, подергивалось при каждой судороге, которая искажала лицо мужчины. Джимми тоже всего передергивало. Он уяснил теперь положение, он уяснил себе свой долг. Этот долг был вполне ясен, вполне прост. Вся его жизнь была лишь долгой подготовкой к исполнению этого долга. Спустя минуту он сказал:

— Расскажите мне, что надо делать, товарищ.

Калинкин спросил:

— Вы вели пропаганду в Америке?

— Конечно, — сказал Джимми. — Я сидел однажды в тюрьме за произнесение речи на улице.

Тогда его собеседник пошел в угол комнаты, порылся под несколькими кочанами капусты и принес пакет. В нем были листки, вероятно, сотни две. Еврей протянул один из пакетов Джимми с таким объяснением:

— Меня спрашивают, как нам сделать, чтобы американцы нас поняли. Я говорю: они должны узнать, как мы ведем пропаганду среди германцев. Я говорю: печатайте прокламации, которые мы раздавали германским войскам, и переведите их на английский язык, тогда американцы и англичане смогут их прочесть. Как вы думаете, это принесет нам помощь?

Джимми взял листок, придвинул лампу поближе и прочел листок:

Прокламация армейского комитета русской двенадцатой армии (большевиков), расклеенная по городу Риге во время ее эвакуации русскими:

ГЕРМАНСКИЕ СОЛДАТЫ.

Русские солдаты двенадцатой армии обращают ваше внимание на тот факт, что вы ведете войну за власть капиталистов против Революции. Мы уходим из Риги, но мы знаем, что силы Революции в конечном итоге окажутся более могущественными, чем силы пушек. Мы знаем, что впоследствии германские солдаты вместе с русской революционной армией пойдут к победе свободы. Вы в настоящее время сильнее нас, но ваша победа — только победа грубой силы. История скажет, что германские пролетарии пошли против своих революционных братьев и что они забыли о международной солидарности рабочего класса. Это преступление вы можете искупить только одним средством.

Вы должны понять свои собственные и в то же время всеобщие интересы, напрячь все ваши неизмеримые силы против империализма и пойти рука об руку с нами — к жизни и свободе...

Джимми поднял взор от листка.

— Что вы об этом думаете? — воскликнул Калинкин с живостью.

— Чудесно! — вскричал Джимми. — Как раз это-то и нужно! Никто ничего не сможет возразить на это. Это факт, это именно то, что делают большевики.

Тот мрачно улыбнулся.

— Товарищ, если у вас найдут такой листок, вас застрелят, как собаку. Нас всех расстреляют.

— Но почему?

— Потому, что это большевистский листок. Показывайте его только тем, кому вы можете доверять. Спрячьте копии, возьмите один листок и запачкайте его, тогда вы скажете, что нашли его на улице. Так вы и раздайте их, а я как-нибудь приду к вам еще с какой-нибудь новинкой.

Джимми согласился, что так именно и надо будет действовать. Он сложил десятка два листков, засунул их во внутренний карман своей куртки и надел тяжелую шубу и перчатки. Ему хотелось, если бы было можно, отдать эти перчатки больному, полуголодному и полузамерзшему большевику. Он похлопал его ободряюще по спине и сказал:

— Вы доверьтесь мне, товарищ. Я раздам их, и они принесут свои результаты, бьюсь об заклад.

— Вы не рассказывайте про меня! — воскликнул Калинкин с большой горячностью. На это Джимми ответил:

— Не расскажу, хотя бы меня сварили живым.

В ПРИКАРПАТСКОЙ РУСИ

Бела Иллеш «Тисса горит»

Машинист взбирается на паровоз. Снимает фуражку, чтобы утереть вспотевший лоб. В фуражке листок:

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ ОРУЖИЯ ВРАГАМ СОВЕТСКОЙ РОССИИ!

Кочегар покупает на станции хлеб. Хлеб завернут в большой лист оберточной бумаги. На бумаге надпись на семи языках:

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ БОРЕТСЯ ЗА ГОСПОД, А КРАСНАЯ АРМИЯ — ЗА ТЕБЯ!

Кондуктор лезет в карман за папиросой. В кармане нащупывает бумажку:

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ...

Половина сопровождающей поезд воинской охраны укладывается спать. Когда просыпаются, из каждого ствола винтовки выглядывает беленькая бумажка. На бумажке на семи языках надпись:

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ БОРЕТСЯ ЗА ГОСПОД, А КРАСНАЯ АРМИЯ — ЗА ТЕБЯ!

В железнодорожных мастерских рано утром расклеивают воззвание генерала Пари:

ПРЕДУПРЕЖДАЮ НАСЕЛЕНИЕ ПРИКАРПАТСКОЙ РУСИ...

Вокруг воззвания какие-то неизвестные наклеили маленькие бумажонки:

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ...

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛЕВОГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА ОТ 16/V 1920 года

В Киевском районе наши части, перейдя в наступление, ведут бои в пятнадцати верстах северо-восточнее Киева. Противник оказывает упорное сопротивление. В Черкасском районе нами занято местечко Корсунь, в пятидесяти верстах

западнее гор. Черкассы. В Вапнярском районе наши части ведут успешный для нас бой в пятнадцати верстах южнее ст. Вапнярка.

* * *

Длинные, длинные поезда следуют один за другим ко Львову.[1] Один-два пассажирских вагона, а за ними длинная, длинная вереница товарных вагонов с воинской охраной.

Из Чапа отправляется поезд. В нескольких километрах от станции между двумя вагонами обрывается сцепка и весь товарный состав отцепляется. Машинист не замечает случившегося. Паровоз с двумя пассажирскими вагонами мчится дальше, а товарные вагоны застревают посреди пути. За ними высылают паровоз, который отводит их обратно на станцию Чап. Там, после продолжительного маневрирования, их прицепляют к следующему поезду. Паровоз этого поезда не выдерживает такой нагрузки и, немного не доходя до Мункача, застревает. В итоге — опоздание на семь часов.

Между Мункачом и Свальявой паровоз сходит с рельсов. Движение приостановлено на полдня.

Между Свальявой и Волоцем взрывается вагон. Движение приостановлено на сутки.

Длинными-длинными вереницами стоят на путях длинные-длинные составы, пустые пассажирские вагоны, запломбированные товарные.

На станциях — застрявшие транспорты с военным грузом.

Всюду на путях — застрявшие транспорты с военным грузом.

Составы охраняются солдатами. У солдат в карма-

---

[1] Львов — один из главных городов в Польше.

нах, в фуражках, в кисетах с табаком — бумажки с надписью на семи языках:

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ...

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ...

ЧТО ЕДЯТ ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ? — ЧТО ЕДЯТ СОЛДАТЫ?

ДАЛА ТЕБЕ РЕСПУБЛИКА ЗЕМЛЮ? — ЛЕНИН ДАСТ.

Всюду расклеено последнее воззвание генерала Пари:

Предупреждаю население Прикарпатской Руси...

ПРОТИВ НАРУШИТЕЛЕЙ...

Всюду — маленькие бумажки:

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ...

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ...

ДАЛА ТЕБЕ РЕСПУБЛИКА ЗЕМЛЮ? — ЛЕНИН ДАСТ.

Вагоны, которые попадают в депо на ремонт, там и застревают.

Когда их все же оттуда выпускают, они оказываются в худшем состоянии, чем были раньше.

Что ни день, то новые крушения, новые взрывы на линии.....

ПРЕДУПРЕЖДАЮ НАСЕЛЕНИЕ...

НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ...



Если поставить себе вопрос, чем же в конечном счете объясняются наши победы против врага гораздо более сильного, то приходится ответить: тем, что в организации Красной армии были великолепно осуществлены последовательность и твердость пролетарского руководства в союзе рабочих и трудящегося крестьянства против всех эксплоататоров. *(Ленин, т. XVIII, стр. 291)*

Врагу на погибель трудились мы без срока;
Не можем мы сегодня ослабнуть вдруг —
Так станем стеною, да локоть по локоть
Сразу ударим во вражий круг.

ПЕРЕКОП

Тарасов-Родионов. «Гибель барона»

Красная армия в кровавых боях шаг за шагом очищала Советскую страну от белогвардейских и иностранных войск.

Контрреволюционная армия под командой ген. Врангеля отступила в Крым. Крымский полуостров, соединенный с сушей узкой полоской земли, — Перекопским перешейком, являлся, казалось, естественной, неприступной крепостью. В ноябре 1920 г. части Красной армии под общим командованием М. В. Фрунзе героическим штурмом взяли Перекопский перешеек, ворвались в Крым и очистили его от остатков генеральских белогвардейских армий. Бои за Перекоп были последними крупными боями Красной армии в прошлой гражданской войне.

Грохот со стороны Перекопа разрастался все бешенее и все громче. Канонада усиливалась и свирепела. Должно быть это Блюхер двинул все свои части на решительный штурм. Да, брать Перекоп прямо в лоб — это не шутка!

Фрунзе спешит ехать дальше вдоль по берегу Сиваша, во Владимировку и в Строгановку. Еще с утра пошли через Сиваш наши главные ударные части. Густые хлопья морского тумана, пахнущего водорослями и солью, пронизывают холодом нас насквозь. А каково-то там, за Сивашом, промокшим и изнемогшим нашим бойцам, ушедшим туда по воде, в безвестную зловещую мглу?

Неприятельские снаряды начинают вдруг разрываться резкими огненными кустами уже совсем неподалеку от нас — и в степи и по дороге. Должно быть противник взял прибрежные села и дороги к ним под обстрел, почувствовав, что удар получен теперь им отсюда. Вдруг небо над нами порывисто озаряется багровым светом. Невольно оглядываемся назад, и глаза нам слепит ярко пылающий там огненными языками, огромный подожженный снарядом противника соломенный омет.

Начальника 52-й стрелковой дивизии, товарища Германовича, Фрунзе во Владимировке не застал. Начальник его штаба, с лихорадочно горящими от постоянных бессонниц глазами, сидел в полуосвещенной сальными каганцами хатенке, с окном, плотно занавешенным одеялом, и, судорожно прижав к уху трубку, что-то хрипел по телефону. Узнав командующего, он вытянулся перед ним и доложил, что начальник дивизии еще с утра умчался к дивизии на Литовский полуостров. Сейчас там, возле деревни Карджанай, идет упорный бой. Белые бросились на нас от Армянска отборными офицерскими полками дроздовцев, поддержанных броневиками. Дивизия наша еле держится. Она в бою уже целые сутки. Бойцы ничего сегодня не ели и не пили. Пресной воды на Литовском полуострове не имеется. Патроны иссякли. Артиллерии нет. Ни батарей, ни патроных повозок, ни кухонь через Сиваш отправить не удалось. . .

— Почему? — озабоченно хмурясь, спросил его Фрунзе.

— Дно очень топкое. Грузнут. Два орудия со снарядными ящиками мы и так уже там завязили.

— Надо мостить! Что же днем вы тут делали? — не мог сдержать своего раздражения Фрунзе. — Почему не мобилизовали для этих работ местных крестьян? . .

— А мы уже начали. . . — стал было оправдываться начальник штаба дивизии, робко мигая глазами.

— «Начали!» — передразнил его Фрунзе. — Уж лучше б молчали. Извольте немедленно же принять срочные меры! Мигом мобилизуйте всех крестьян с подводами для мощения гати, и чтобы за ночь и артиллерия, и патроны, и пища с водой, все было бы у вас уже там! — Фрунзе повелительно махнул рукой на окно, плотно завешенное одеялом.

На фоне плотного ночного неба, подернутого мрачной мглой, там, далеко-далеко за Сивашом, трепещет и мечется белыми огоньками широкий пожар. Горит Карджанай. До Литовского мыса отсюда не более пяти километров. Глухой морок и гул ползет к нам оттуда.

Мчусь вслед за Фрунзе дальше по берегу, в Строгановку. Вправо от нашей дороги, в ночной мрак, в зябкий тинистый пад, под берег спускаются на Сиваш рота за ротой. С глухим сдавленным шумом идут все новые и новые толпы бойцов. Это к дивизии на подмогу выступают ее подкрепления.

В Строгановке начальника дивизии мы тоже не нашли. Он уже давным давно был на Литовском мысу, откуда немолчно гудел и полыхал багровым отсветом по небу, разыгравшийся там во всем своем буйстве, смертельный, решительный бой. Часть артиллерии начальник штаба дивизии кое-как туда все же отправил. Сейчас отправляли туда вслед за нею тачанки с патронами, фураж для лошадей и походные кухни. Фрунзе решает здесь остановиться, в штабе 15-й дивизии, в крохотной хатке над самым оврагом, неподалеку от спуска в Сиваш. Здесь установлена прекрасная телефонная связь и с штабом 6-й армии и со всеми соседними частями.

— А ну-ка, как там, на Перекопе? — говорит Фрунзе, расстегивая ворот шинели. — Вызовите-ка мне сейчас срочно Чаплинку, штаб 51-й дивизии.

— Со штабом 51-й дивизии у нас связь через штаб армии.

— Ну, так что ж? Давайте мне штаб армии.

— Товарищ командующий, штаб 6-й армии отвечает. Кого прикажете попросить?

— Попросите Блюхера, — говорит Фрунзе и уже принимает из рук телефонную трубку. Он слушает на-

пряженно и мрачно, что гудят ему там издалека. — Приказываю вам, немедленно, Август Иванович, — говорит вдруг Фрунзе так несвойственно ему приподнято громко, — приказываю вам немедленно передать товарищу Блюхеру на участок, чтобы без промедления двигался в новую и самую решительную атаку. Повторите ему, что Перекоп должен быть немедленно взят.

— Первая атака отбита, — выдавил сумрачно Фрунзе, кладя трубку на место. — Пятьдесят первая залегла перед самыми проволочными заграждениями Турецкого вала.

С Сиваша прибежали перемазавшиеся в грязи, бледные, растерянные связисты. И тут же загундосили враз все, связанные с Литовским полуостровом, телефонные трубки. Кричали оттуда наперебой начальники всех тылов, командиры и комиссары:

— Товарищи! Примите срочные меры! Противник на нас наседает! Теснит нас от Карджаная! Грозит скинуть обратно в Сиваш. А в Сиваше стремительно прибывает вода! Ветер подул с востока обратно. Все тропы уже заливаются. Броды делаются непроходимыми. Сзади — вода, впереди — огонь. Куда ж нам деваться? . .

— Вперед! . . — стальным голосом приказывает Фрунзе, выпрямившись во весь рост. — Передайте им всем, — кидает он помощнику начальника дивизии, — что выход только один: вперед! Мы будем расстреливать здесь беспощадно всех, кто побежит назад через Сиваш!

— Созовите сейчас же здесь сельский сход! — оборачивается он к одному из комиссаров. Мигом пришлите ко мне председателя местного ревкома! Надо в секунду поставить на ноги все население. Надо мобилизовать все местные силы и средства. Пусть срочно везут на Сиваш солому, камни, изгороди, хворост. . .

Пусть захватывают топоры и лопаты. Надо сейчасе же мостить через Сиваш насыпи-гати и по ним кинуть туда же, вперед, все наши резервы. Только — вперед! Только — вперед!

Заспанный комиссар побежал на село без шинели. Растревоженный Фрунзе нервно шагал по комнате из угла в угол. Один за другим быстро входили к нему местные крестьяне, члены ревкома. Пока Фрунзе воодушевленно им разъяснял спешную задачу — остановить напирающее на нас море, — телефонная трубка из штаба армии опять загудела.

— Послушайте, что у них там нового? — кинул мне Фрунзе, не оставляя своего делового разговора с крестьянами.

— Член реввоенсовета 6-й армии, товарищ Ошлей, доносил сейчас из Чаплинки. От Блюхера, из-под Перекопа, получено срочное донесение. Все его части и Огневая бригада только что произвели вторую решительную атаку на Турецкий вал. Понеся колоссальнейшие потери под ураганным огнем врагов, бойцы прорвали все семнадцать рядов проволочных заграждений и в одном месте даже взлетели на вал. Но стремительной контратакой отборных офицерских частей и убийственным ливнем бесчисленных пулеметов сейчас отброшены с вала назад. Теперь они залегли перед рвом, понеся огромную убыль. От 152-й бригады не осталось в живых почти никого. Командир Корк срочно выехал к Турецкому валу, чтобы немедленно же поднять всех на третий, самый решительный и окончательный штурм.

Фрунзе выслушал молча переданное ему сообщение. Глубокая поперечная складка легла на его лбу.

— Подтвердите Ошлею мое категорическое приказание. Немедленно же начать новую атаку. Перекоп дол-

жен быть срочно взят... Потеря целой бригады...— сказал он затем задумчиво и глубоко вздохнул.—Да, победа рождается в судорогах и в крови. Но что значит потеря бригады, даже целых дивизий, если на карту поставлена судьба всей нашей огромной страны. Судьба восставшего пролетариата... Товарищи! Надо срочно выяснить, какие у нас здесь еще имеются резервы, и тотчас же стремительно перекинуть их через Сиваш, туда, на полуостров!

Ночь попрежнему беспросветно мрачна, холодна и туманна. И попрежнему от Перекопа несутся немолчные орудийные гулы и лихорадочно бегают по далекой кайме Турецкого вала огни батарей и прожекторов. Это — Блюхер повел третий штурм.

С Литовского полуострова, из-за залива, гулы доносятся уже слабые. Неужели мы отошли от Карджаная?.. Только пожары все еще озаряют там густое южное небо.

А вода, действительно, прибывает. Но во мраке деревенских улиц густыми вереницами уже сползают на Сиваш, тарахтя повозками, разбуженные нами крестьяне. Слышна украинская речь, понукание коней, девичьи голоса, стук колес, лязг лопат, грохотание наваленных па телеги камней и треск примятого хвороста.

— Ой, и сумасшедшие эти большевики! — слышен впотьмах прижатый у тына старушечий голос. — Разве же можно запрудить цельное море?

Однако надобно искать резервы, а резервов нигде нет. Но вот возле дороги, ведущей на север, стоит, притаясь во тьме, огромная масса людей. Только винтовок что-то не видно у них.

— Кто такие?

— Пленные, ваше высокоблагородие! — отвечают из темноты.

— Не высокоблагородие, а товарищ! — веско и вразумительно поправляет их кто-то со стороны, видимо, один из конвоиров. — Высокоблагородий ваших вон тамотка добивают! — махнул он рукой на Сиваш.

— Это, товарищ начальник, пленные, — счел он необходимым вслед за этим пояснить, — бригада генерала Фостикова. Из Феодосии их пригнали. Мы забрали ее тамотка на Литовском — всю целиком. Не знаем только, куда нам теперь их вести: то ль на Никополь, то ль на Каховку?

Издали слева быстро приближается и растет какая-то плотная черная туча. Слышно фырканье коней, звяканье уздечек, щелканье шашек о стремена.

— Что за конница?

— Седьмая кавалерийская дивизия группы товарища Каширина! — раздается из темноты молодцеватый бодрый ответ. Начальник дивизии спрыгивает передо мною, держа за уздцы нетерпеливую лошадь. Торопливо объясняю ему задание Фрунзе. Начальник дивизии благодарит и вскакивает на коня.

— Прямо по улице — марш! — командует он. — Расставьте там, товарищ комиссар, всю дивизию по берегу Сиваша, да чтоб дорогу не застили, и пусть спешатся. Я на минуту вот забегу к товарищу командующему. Он, оказывается, здесь.

Каширинская дивизия с бешеным топотом проносится по деревне, подпимая неистовый лай и без того уже охрипших собак. Она натыкается на опускающийся к Сивашу крестьянский саперный обоз и сворачивает круто влево. Спешившиеся бойцы оправляют подпруги распаренных лошадей и сами не прочь обогреться и размять замерзшие ноги. Но в хату не зайдешь, коня не бросишь. А костры разводить — строжайше запрещено. Даже курить можно только украд-

кой, тщательно прикрыв цигарку ладонью. Звякая шашками, озябшие бойцы прыгают с ноги на ногу, лишь бы согреться.

— Сейчас будет приказ. Пойдем прямиком через море, туда, в бой!

— Почему б и не пойти? Бают только тутошние, что шибко вода прибывает.

— А хоть бы и так! Ровчаки, как-нибудь переплывем!

— Не сахарные, не растаем!

— Эх, досадно, братишки, даже письма своего жинке не дописал.

— А ты его там, в бою, шашкой допишешь, коли самого тебя Врангель не женит.

Слышен дружеский хохот, и кто-то сдавленно после этого говорит:

— Ой, и покажу ж я тамотка этим гадам! Все пальцы их скрозь попалю, щоб не рушили наши бедняцкие хаты...

— По коням! — слышна властная, четкая команда.

Шумный скрип бесчисленных седел, щелканье шашек о стремена, и валятся в Сивашское море, в темный таинственный пад, лихие Каширинские эскадроны. Туда, вслед за разведчиками, изучившими броды, — поскорее вперед, на Литовский.

Гулы от Перекопа становятся постепенно все глуше и глуше и словно бы совсем замирают. Неужели и третья атака отбита? Эх, и тяжеленько же нынче приходится товарищу Блюхеру!

— Наши только что заняли Карджанай! — радостно встречает меня в сенях помощник начальника штаба дивизии, — и теперь наступают на Армянский Базар. А командующего сейчас срочно вызвал к телефону товарищ Корк из штаба армии.

Фрунзе стоял, держа трубку, весь сияющий и возбужденный. — Так! .. так! .. так! .. — повторял он размеренно и вместе с тем мягко. Потом на секунду отнял трубку от уха и повернулся восторженно к нам.

— Товарищи! Поздравляю! Врангель сломлен! Только что, в три часа тридцать, нашей третьей атакой взят Перекоп! Противник бежал в Юшунь, за озера. Блюхер уже переводит штаб дивизии свой в Армянск.

— Урра! .. — вскричали мы от бешеной, душившей нас радости, и стекла в хате торжественно зазвенели.

ПЕСНЯ ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЫ

Н. Асеев

4 Время былое — море гнилое...
Мертвый, соленый Сиваш.
Дни, пересыпанные золою,
сумрак рассеялся ваш!
Братских могил сохранилось не мало,
сжавших смертельным кольцом
яростный профиль Турецкого вала,
бравших и павших бойцов.
Мертвое море вброд перешли мы,
Нам на ходу не слабеть.
Будем же пламенны и бережливы
к памяти наших побед!
Перекликайся с центра на фланги,
песня возможной войны.
Выбит и выгнан в прошлое Врангель,
жив его белый двойник.
Жив еще, ищет с нами знакомства,
встав на чужие харчи,
генералиссимус ихний — Лукомский —
пнем обгорелым торчит.
Ждет еще нашей увесистой плюхи.
Только дойдет до беды —
в ряд — Ворошилов, Буденный и Блюхер,
в марш — боевые ряды!

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ НЕ ЗАБЫЛИ!

Вс. Вишневский. «Первая Конная»

1918 год. Темно. Степь. Курганы. Медленно выходят с двух сторон двое. Зачуяв друг друга, останавливаются.

— Кто идет?
— Свой!
— Какой свой?
— Ну, свой... Здешний!
— А ты чей?
— Свой... А ты кто такой?
— Тоже свой...
— Тьфу!

Молчание. Делают движение и испуганно отскакивают.

— Оружие есть?
— А у тебя?
— Ну, скажем, нету...
— Ну, и у меня вроде...
— Да ты не бойсь!
— Чего бояться — ты бы не боялся!..
— Я?
— А я?

Медленно сходятся.

— Ну, здоров!
— Здоров!
— Куды путь держишь?
— А ты?
— Так, тут неподалече, домашняя забота...
— И у меня тоже...

Молчание. Встретились, а разойтись — ноги не идут: в затылок один и другой пулю получить боятся...

— Закурим?
— Закурим!

Свертывают цыгарки.

— Где служил, земляк?

— В лейб-драгунах пришлось. В гвардии. А ты — казак?

— Ыгы, казак.

Молчание. При огоньке спички испуганно и пытливо разглядывают друг друга.

Казак. Будто ты знакомый мне.

Драгун. Все может статься, мало, што ли, людей встречаешь!

Казак (*хитрит*). Будто серьезно поспорили мы с тобой. Ехавши у Барановичей. Ты все за Ленина голос держал...

Драгун (*сухо*). А может, ты обознался, станичник?

Казак (*согласно*). Може...

Молчание.

Драгун. Прощевай, што ль...

Казак. Прощевай.

Драгун (*вдруг*). Ох, и храбрые мы с тобой!

Казак. Чего ж?

Драгун. Напрямки давай! Куды идешь, хто такой? Я к большевикам подаюсь... Ну?

Руку к поясу.

Казак. Ох, друг, я ведь чуть тебя не зарубил. У меня шашка здесь. (*Распахивает полу.*)

Драгун. И у меня, брат, припасена. (*Распахивает полу*). Чего подаешься?

Казак. Мобилизуют! Кой-чего в хозяйстве позабрали фуражиры офицерские — сучьи дети... Сапоги берег — еще с позиции вез — забрали! Ты, грит, большевик, босота. Верно, — не ряжусь в атаманы...

Драгун. Вместях пойдем? Тут меньше на людях надо быть. Огибом итти... куда-нибудь и выйдем... Где-

то, сказывали, наши... красные есть. Буденный, што ль, у их командир...

Казак. Пойдем... Ну, прощай, родная сторона...

Уходят, тихо поют.

* * *

1929 год. Темно. Степь. Курганы. Обстановка та же, что и в 18-м году. Медленно выходят с двух сторон двое.

Один *(весело)*. Кто идет?

Второй (*весело*). Свой...

— Какой свой?

— Здешний житель, с колхоза «Буденновец».

— Ты бывший конник?

— Ыгы...

Сходятся.

— Ну, здоров, братан!

— Здоров!

— Закурим?

— Закурим!

При огоньке разглядывают друг друга.

Казак. Ты-ы? Митрей?... Здорово, 4-я смелая кавалерийская дивизия!

Митрей. Казак?.. Здоров, смелая 6-я! Вот привелось!

Казак. Да-а, привелось.

Митрей. Сколько я тебя не видел — с Врангельского?

Казак. Ыгы...

Курят оба.

— А что про кого слыхал о наших, друг?

Митрей. Писали вот про Городовикова, что командир конного теперь корпуса... Ваньку Сысоева помнишь?

Казак. Взводного? Ну, как же.

Митрей. Заделался командиром, прошел учение. Ишь, хват!.. А где Тимошенко, начальник дивизии?

Казак. Вроде 6-й командует, а может корпусом. А комиссара помнишь? Где-то он теперь?

Митрей. Ага... А где — был, помнишь, орден имел, — Пархоменко? В 14-й был, кажись, начальником дивизии после?

Казак. Махно убил его, застукали. Всех положили махновцы, весь штаб дивизии... А Дундыча помнишь?

Митрей. Ну, не помнить! А Морозова, начальника 11-й дивизии помнишь? Погиб на Врангельском. С ним и комиссар лег рядом... как его?

Казак. Бухтуров... *(Молчание)*. А Литунов? Вот герой был. *(Молчание)*. А у нас в эскадроне командиров трое убито, два в инвалидах. Писали. А рядовых бойцов вернулось — едва взвод соберется против того, што вышло в эскадрон в 18-м.

Митрей. И у нас. Под Батайском упало много... А под Бродами?.. А под Грубешовым? Сразу трех бригадных убило...

Казак. А у Егорлыкской? Помнишь, ходили?.. (*Молчание*). А где Апанасенко — начальником дивизии был?

Митрей. Апанасенко, слышно, сейчас в нашей 4-й... (*Молчание*). Так Пархоменко убили?.. (*Задумался)*. Да, побита сила. Ох, побито много...

Затихают оба. Казак и Митрей в сумраке застыли.

Казак. Да, побито много...

Митрей. Свое взяли... Поломали хребетину буржуям.

Казак. А дома-то ребятишки... Сопляки в 18-м были, задницы голые видать, а теперь басом гуторют...

(Удивляясь и ласково.) В красной кавалерии служат!.. Ишь, дела! Вот те и сопляки — выросли!.. Время идет.

Митрей. Бежит, друг, время, прям, бежит..

Молчание.

Митрей. Куда собрался?

Казак. Китайский буржуй просит.[1] Да там и офицера белые есть. Тоже просют... Надо дать...

Митрей. Вместях в военкомат записываться, значит, идем.. Сгодимся может.. Еще партизаны восемьнадцатый не забыли..

Казак. Куда забыть! Очень все помним.. Ну-ка *(зычно)*, справа по три!

Митрей (*строго*). А нас двое.

Казак. А с нами третий повсегда — Ворошилов..

---

[1] Имеется в виду вооруженное выступление белогвардейцев в в 1929 г. против СССР. Иностранная буржуазия, непрерывно готовящая новую войну против Советского союза, пыталась в 1929 г. белокитайским штыком прощупать крепость СССР. Сокрушительный отпор, данный частями Особой Дальневосточной Красной армии и Амурской военной флотилии, заставил их на время отказаться от дальнейших военных действий против Советского союза.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.